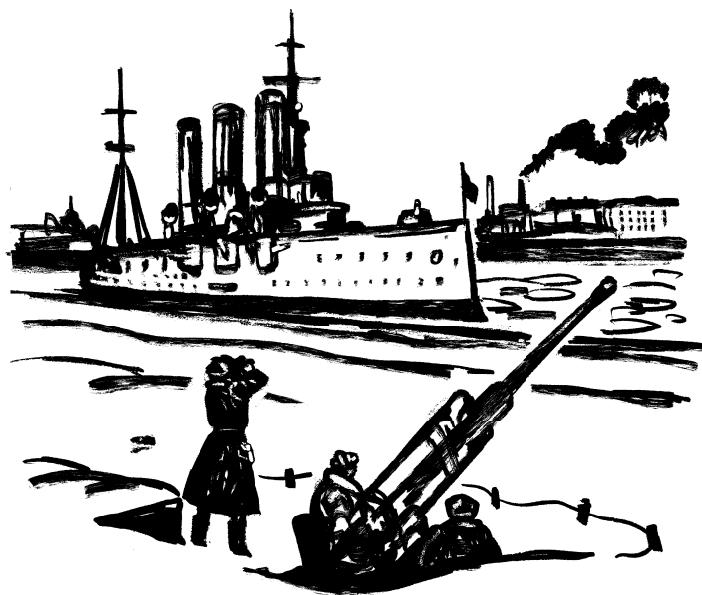


АНДРЕЙ ОСТРОВСКИЙ
НАПРЯЖЕНИЕ



НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ ЛЕНИНГРАДА

ЯУЗА

Москва
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
О-77

Островский, Андрей Львович.

О-77 Напряжение : невидимый фронт Ленинграда / Андрей Островский. — Москва : Яуза : Эксмо, 2022. — 416 с.

ISBN 978-5-04-167358-1

В своей книге петербургский писатель Андрей Островский (1926–2001) рассказывает о противоборстве военной контрразведки с немецкими диверсантами в дни Блокады и борьбе милиции с преступностью в послевоенном Ленинграде.

В повести «Напряжение», зимой 1941 г., в блокадном городе сотрудники особого отдела расследуют самоубийство военинженера 3-го ранга Евгения Лукинского, трудившегося на оборонном заводе. Рядом с телом убитого найдена немецкая ракетница и гильзы. Следователи предполагают, что самоубийца с помощью ракетницы наводил самолеты противника во время бомбардировок. Один из следователей — капитан-лейтенант Особого отдела Всеволод Бенедиктов был знаком с Лукинским. Во время обыска Бенедиктов находит дневник самоубийцы, после знакомства с которым, начинает сомневаться в добровольном уходе из жизни Лукинского. Распутывая преступление Бенедиктов выходит на след группы немецких агентов, устранивших талантливого инженера. Пока следователь ищет врагов в блокадном городе, умирает его жена, но ничто не может остановить Бенедиктова, и вся группа вражеских агентов была задержана. Название повести прекрасно соответствует ее содержанию, до последней страницы автор держит нас в напряжении и неведении о дальнейшем развитии сюжета.

В повести «Ночь не скроет» ленинградские оперативники расследуют загадочное убийство гражданина Красильникова в саду «9-го января». В этой повести есть любовь и ревность, цирк и пистолет чешского производства. Почти год понадобился сыщикам, чтобы найти убийц и выявить цепочку спекулянтов в послевоенном Ленинграде.

Повесть «Звонкий месяц апрель» завершает сборник. В ней автор показывает будни ленинградской милиции в послевоенное время.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-167358-1

© ООО «Издательство «Яуза», 2022
© ООО «Издательство «Эксмо», 2022

НАПРЯЖЕНИЕ

Военным контрразведчикам Балтики

1. В ТОТ ГОД...

Военная зима тысяча девятьсот сорок первого года отличалась необыкновенной суровостью: в середине октября круто подули ветры с Ледовитого океана, сырая стужа вошла через выбитые стекла в дома, заструилась тонкими ветвями поземка, потом снег густым слоем застелил изувеченные улицы; отвердела многоводная Нева, спаяв прозрачный лед с громадами военных кораблей. И — ни оттепели, ни намека на движение воздуха с юга.

Блистательная некогда столица, ставшая первой на земном шаре столицей нового мира, распласталась тенью у Невы, обложенная со всех сторон ненавистными чужаками. Стройные улицы, внимавшие стуку колес великосветских карет, гулкой дробью маршевого шага вооруженных революцией матросов и ликованием праздничных манифестаций, погрузились в беспокойную тишину. Вой самолетов, хлопанье зениток, оглушительные взрывы то и дело терзали ее, и сразу чистый, как над океаном, воздух пропитывался мерзкими запахами войны — пироксилина, крови, гари, кирпичной пыли. Но и тогда — со вспоротыми, выпотрошенными тут, там домами, фанерой вместо стекол, ам-

бразурами в нижних этажах, без Клодтовых коней на Аничковом мосту, со зловещим черным куполом Исаакия, уродливыми грудями мешков с песком, укрытыми бесценные памятники, с плавающими в небе тушами аэростатов, — но и тогда Ленинград хранил черты гордого великолепия. Он напоминал израненный дом, где завешены зеркала и оставлены часы.

Исчезли веселые, взбалмошные воробьи. Замело ослепительно-белым снегом не дошедшие до парков трамваи — электростанции перестали подавать ток. В домах пересохли водопроводные краны. На топливо ушло все, что можно было сжечь в городе из камня, — топлива не было. Продуктовые склады были пусты, как и магазины. Из холодных кухонь не сочились запахи съестного. Кончился бензин в автомобильных баках. Санки стали самым надежным транспортом. Обессиленные, переставшие обращать на себя внимание женщины с ввалившимися щеками и пустыми глазами тащили их по протоптанным в сугробах тропинкам к прорубям на Неве, обледенелым колонкам, выросшим среди мостовых, чтобы наполнить драгоценной водой кувшины, кастрюли, чайники... На санках везли близких, завернутых в простыни; на санках кончался их путь — путь в никуда. В госпиталях появились дети с детской печалью в глазах и с культяпками вместо рук, дети на костылях...

Но город не плакал, не стонал. Слезы были выплаканы; ненависть заглушала скорбь. Надеждой было мщение. Оно взывало к сопротивлению, противоборству, оно ожесточало и поднимало в ослабевших телесно силу духа, силу, не поддающуюся измерениям и имеющую лишь один предел — физическую смерть.

Город жил особенной жизнью, какой никогда не жил до него ни один город мира. Подчиненный воле, строжайшей дисциплине, исходящей из единого партийного центра — мозга, сердца обороны, — он выдерживал день за днем, ме-

сяц за месяцем невыносимое напряжение, готовя в муках лишений и постоянно висящей угрозы смерти светлый день Освобождения. Не зная, когда придет этот день, он свято верил в него. Вера поднимала на ноги живущего возле станка рабочего, химика в стылой лаборатории, ломавшего голову за ретортами, как научить готовить из несъедобного съедобное; вера вела истощенных, полуживых людей в кинотеатры, где крутили хроникальные короткометражки и добрые, смешные довоенные комедии.

Понять дух жизни осажденного и по всем правилам обреченного города врагу было не дано.

Набожный мизантроп-фанатик, равнодушный к роскоши, вину, женщинам, самоуверенно, с немецкой педантичностью расчел по дням быстрое крушение большевистской России под мощью солдатских сапог и добротной смазанного оружия. Три-четыре месяца (до заморозков!) на разгром Советов и выход к Уралу. Вслед за Москвой смешать с землей Ленинград, землю перепахать! Капитуляции не принимать! В плен не брать!

Расчеты оказались дутыми, превосходство — сомнительным. Давно лютовали русские морозы, а до Урала было далеко, насмерть стояла Москва. Гитлер, страшный в своей ярости, не выбирая слов, поносил командующего группой войск «Норд» генерал-фельдмаршала фон Лееба, этого холеного, спесивого саксонца, которому не хватило ума и сорока трех отборных дивизий взять Ленинград. И все же его больше беспокоили другие фронты: Ленинград — отрезанный ломоть — должен был, не мог не пасть к ногам победителей сам и молить о пощаде — вопрос каких-нибудь дней, в крайнем случае недель.

Уже принимал поздравления назначенный комендантом Ленинграда желчный коротконогий генерал-майор Кнут (несколько бутылок французского шампанского в глубокой землянке для самых близких — банкет потом, *в Петербурге!*). Уже отпечатаны в походной типографии и лежат

в штабе аккуратно связанные пачки путевых листов для проезда автомашин по городу — только лишь проставить номера моторов и шасси...

А пока, не считаясь с потерями, каждый день, для устрашения, в одни и те же часы ноющие, как бормашина, «Юнкерсы» сыпали на Ленинград бомбы.

Пока с тех же мест, откуда двадцать два года назад белогвардейский генерал высматривал в бинокль Исаакий, а денщики чистили белого коня, дабы генерал во всем величии мог въехать в Петроград и начать вешать на фонарных столбах большевиков, с тех же мест и с теми же помыслами францы, зигфриды, гейнцы, вольфганги в соломенных эрзац-валенках, подогретые шнапсом, глумясь и куражась, топтались у окуляров дальнобойных пушек и давили на спусковые механизмы.

Захваченные земли покрылись гнойниками — чем ближе к Ленинграду, тем гуще: в неприметных деревеньках, хуторах, скрытых от глаз домишках осели секретные отдели, зондеркоманды, абвергруппы, отряды полевой жандармерии, тайной полиции... Оттуда, из подвалов, доносились стоны и дикие крики от дьявольских истязаний. Туда, воровато озираясь, прошмыгивали в темноте невзрачные мужички. С натужными, заискивающими улыбочками они нашептывали фамилии коммунистов-подпольщиков, партизанских связных и уносили с собой зажатые в потных кулаках зеленые бумажки оккупационных марок. Оттуда выходили гуськом с автоматами на груди рослые детины жечь непокорные деревни, вешать и убивать всех без разбору.

Наскоро обнесенные высокими глухими оградами школы, где недавно еще беззаботно шумели доверчивые ребята и звенели звонки, пропахли казармой. За партами сидели сменившие веру, имена и фамилии злобные мордастые парни. Их спешно натаскивали под недреманным оком не знавших жалости абверовских офицеров прыгать с пара-

шютом, отстукивать морзянку, закладывать адские машины, бесшумно убивать. А инструкторами и сподручниками были те же арийцы рангом пониже, дождавшиеся своего часа оуновцы, айзсарговцы, чистенькие седеющие господа в цивильном, говорившие по-русски, но с едва уловимым нерусским акцентом и старыми оборотами речи — из РФС, НТСНП, РОВС¹ и прочих союзов, бюро, комитетов и объединений «бывших».

Каждую ночь они тайно выводили группки из двух-трех человек, закончивших обучение и превращенных в манекены. Все было густой ложью в этих манекенах: имя, одежда, документы, жизнь. Их двигали на Ленинград. Они должны были взорвать город изнутри, помочь врагу открыть ворота. Они должны были выведать тайну сопротивления...

2. ЯСНОСТИ НЕТ

Пройдя хоженным не раз путем от Литейного, капитан-лейтенант Бенедиктов, оперативный уполномоченный особого отдела Балтийского флота, вернулся в часть после доклада Дранишникову в четвертом часу утра.

Часть располагалась в центре города, на карликовом острове, опоясанном еще в XVIII веке высокими казенными, ничем не облицованными кирпичными зданиями и узкими, как рвы, каналами, что делало его похожим на мрачную старинную крепость; два деревянных мостика были перекинуты на другой, большой остров, казавшийся материком. Козырнув устало, Бенедиктов прошел было мимо бюро пропусков, но громоздкий и тяжелый в своем тулупе до пят дежурный краснофлотец открыл дверь и вы-

¹ ОУН — организация украинских националистов; «Айзсарг» — латышская полувоенная националистическая организация; РФС — «Русский фашистский союз»; НТСНП — «Национальный трудовой союз нового поколения»; РОВС — «Российский общевойсковой союз».

сунулся наружу. Не сдерживаясь от радости, он поспешил разделить ее:

— Товарищ капитан-лейтенант! Слышали «В последний час»? Наши фрицев под Москвой шарахнули! Только пух да перья... Полный разгром! Гитлер небось в штаны наклал... Вот это да!.. Теперь пойдет дело... Теперь и от Ленинграда погонят, как часы!..

Бенедиктов сам находился под впечатлением этой первой, с нетерпением ожидаемой большой победы, о которой услышал по радио у Дранишникова, и восторг дежурного был ему близок, понятен. Обсудили, что означает эта победа для нас и поражение для фашистов, припомнили цифры подбитых немецких танков, потерь живой силы и взятых трофеев... И вдруг дежурный, спохватившись, сообщил потускневшим голосом, что капитана-лейтенанта разыскивали еще с вечера и просили срочно позвонить по телефону. Сердце Бенедиктова сжалось: «Тася?! С ней что-нибудь?..» Схватил обрывок газеты с нацарапанным карандашом номером — отошло: телефон был Приморского отдела милиции.

Бенедиктов валился с ног от усталости: последние три вечера, проведенные с группой краснофлотцев в настойчивых, но безуспешных поисках ракетчика на набережной Васильевского острова, вконец измотали его. Чувствуя, что выдыхается, Бенедиктов рассчитывал поспать хотя бы до восьми, но сообщение дежурного заставило изменить планы.

Короткий сон не освежил. Невыспавшийся, разбитый, с заплывшими глазами, он покинул свою клетушку в круглом, как барабан, здании еще до пробудки и, наскоро выпив кружку горячего чая с ломтиком черного хлеба, вышел, поеживаясь, в темноту, на мороз.

Ниже среднего роста, широкий в кости, большеголовый, с крупными чертами лица и чуть косым разрезом глаз, выдававшим далеких татаро-монгольских предков, Бенедиктов все свои тридцать четыре года прожил в Ленинграде, великолепно ориентировался в городе и любил ездить по

его улицам. Однако теперь, когда транспорт встал и единственным средством передвижения оказались ноги, отшагивать километры берегущему силы полуголодному человеку было физически трудно, к тому же на ходьбу тратилась уйма драгоценного времени. Чтобы использовать его, Бенедиктов обдумывал добытые накануне сведения и возникавшие в связи с ними вопросы, не забывая, впрочем, отсчитывать линии и стараясь не упускать из виду тропинку, петлявшую среди наметенного снега.

На Васильевском острове, казалось, было еще холоднее, нежели на материке. На брови, ресницы, мерлушку опущенной по самые глаза флотской ушанки налип иней. Пальцы одеревенели. Бенедиктов сжимал и разжимал их, но вместо тепла лишь испытывал боль у ногтей.

Начали попадаться редкие прохожие, возле зениток на набережной копошились расчеты, где-то вдали громыхали взрывы...

Когда показалось в глубине улицы за оградой облупленное здание районной милиции, солнце уже взошло, красное и размытое в своих очертаниях. Бенедиктов потянул на себя дверь — тугая пружина щелкнула и задрезжалась, — потопал, чтобы сбить с валенок снег, и поднялся по грязной промерзшей лестнице.

Кабинет начальника отдела Калинова был открыт, но пуст. Бенедиктов нетерпеливо двинулся по коридору, заглядывая подряд во все комнаты, пока в одной не заметил его. Капитан захромал навстречу, опираясь всем телом на старинную клюку, и по пути приказал разыскать Жукова.

— А я только неделю, как из госпиталя, — объяснил он Бенедиктову, спросившему о хромоте. — Осколки клюнули, семь единиц. Шесть вытащили — четырнадцать грамм, седьмой оставили на память от ганса... Пустячок, но неприятно...

«Все та же ироничность, те же колючие глаза, — отметил Бенедиктов, знавший Ромку Калинова еще опером в управлении милиции, — и лицом не сдал... Держитесь».

Пропустив его в кабинет, Калинов прикрыл за собой дверь.

— Были времена, а теперь моменты... Угостил бы, да, сам понимаешь, нечем — ни горячего, ни холодного, про-сти, — сокрушенно вздохнул он, цепляя клюку за край сто-ла; сел тяжело, вытянув одну ногу. — Садись.

Бенедиктов сразу учуял, что от огромной изразцовой печи в углу, протопленной, по-видимому, накануне, исхо-дит тепло, и пододвинул к ней стул. Но садиться разду-мал — побоялся разомлеть от постоянного недосыпания. Расстегнул шинель.

— Знаю, гостеприимный хозяин... Так чем пораду-ешь? — спросил он, прикладывая растопыренные пятерни к охладившемуся до температуры человеческого тела зе-леному кафелю.

— Самоубийство, — сказал Калинов и поморщился от боли, крикнул. — Вот зараза, не унимается... Плохо раны заживают, витаминов не хватает... Да, самоубийство. Ваш тут гусь один лапчатый порешил себя.

— Почему же «гусь», да еще и «лапчатый»? — повернул-ся к нему Бенедиктов и стал растирать покрасневшие руки.

— Ракетчика держали у себя под носом. Разве не гусь?

— Вот как? — сдерживаясь, чтобы не выдать волнения, спросил Бенедиктов. — И кто же он?

— Сейчас... Жуков! — гаркнул Калинов почти одновре-менно с отворившейся дверью. — А, вот и он. Заходи, Иван Иванович, заходи.

На глаз Бенедиктов дал Жукову лет шестьдесят, не меньше. Невысокий и, должно быть, толстый в прошлом, он исхудал — кожа висела складками на его нездоровом и небритом лице. И старомодное драповое пальто с полами чуть не до земли тоже висело, словно чужое, хотя чувство-валось, что под ним накручено немало тряпья. «Из отстав-ников», — подумал Бенедиктов, пожимая ему руку.

— Капитан-лейтенант из особого отдела, — представил Калинов Бенедиктова, — можешь говорить все.

Из рассказа Жукова Бенедиктов уяснил для себя следующее. Техник Пискунова, дважды посланная на квартиру старшего научного сотрудника военинженера третьего ранга Лукинского выяснить причину его трехдневного отсутствия в части, заявила в милицию, что на стук в дверь ей никто не ответил, а дверь заперта. Жуков, принявший заявление, вскрыл замок и обнаружил Лукинского мертвым, с простреленной головой; в руке его лежал пистолет «ТТ», а возле окна — немецкая ракетница и три стреляные гильзы. Врач констатировал самоубийство.

— Выходит, выпустил ракеты и застрелился. Так? — спросил Бенедиктов больше себя, нежели Жукова, и посмотрел на него. — В чем же причина, как по-вашему?

Жуков откашлялся, прикрывая маленькой ладонью рот, потом сказал:

— Запутался... Но могло быть и так, что кто-то заметил ракеты из его окна и стал ломиться в дверь.

— Логично. Но не совсем. Стал ломиться и недоломился?.. Вы опросили людей? Дворников?

— Нет... Мы сразу позвонили вам.

— По-нятно... — протянул Бенедиктов с еле заметным осуждением. — Но опросить нужно, сделайте это, пожалуйста. Капитан, я думаю, не будет возражать.

Калинов поморщился, на этот раз не от боли.

— Ах какой хваткий! У меня же людей нет, работать некому... Ну да ты ведь не отвяжешься, что с тобой поделаешь, по старой дружбе... А ты этого Лукинского знал?

— Нет, — покривил душой Бенедиктов, чтобы избежать лишних вопросов, и спросил Жукова: — Вы все оставили в неприкосновенности?

Жуков еле волок ноги, задыхался. Паспортистка жакта, приглашенная понятой, тоже немолодая и слабая, плелась позади него. Жалея их, Бенедиктов просил не торопиться и сам, насколько мог, сдерживал шаг, но все равно вре-

мя от времени приходилось останавливаться и поджидать стариков. К несчастью, Лукинский жил на пятом этаже, лестница оказалась крутой, и на восхождение потратили без малого полчаса.

На узкой площадке Жуков сорвал пломбу с правой, обитой дерматином двери (всего их на площадке было две), поковырялся в замке.

— Заходите, — кивнул он, точно приглашая к себе в гости, и, пошаркав, исчез в темноте коридора.

Бенедиктов вынул фонарик «динамо» — желтое расплывчатое пятно то ярче, то слабее скользнуло по давно не менявшимся обоям с крупными цветами, пустой вешалке, деревянному ящику телефона и провалилось в пустоту дверного проема.

Комната была проходная. Лукинский жил в другой, служившей, видимо, спальней, в которую он перетащил остатки мебели из проходной.

Не переставая жужжать «динамкой», — лишь одно небольшое стекло в окне чудом уцелело вверху, остальные заменили обрезки фанеры, картона, кое-как приколоченные к оконным переплетам, — Бенедиктов увидел Лукинского, лежащего возле письменного стола, на боку, с поджатыми ногами в бурках. Был он в пальто, в перчатках, и, вероятнее всего, в шапке, отлетевшей после выстрела. Под ним растеклась большая лужа крови; она замерзла и напоминала застывшую старую краску. Запачканным кровью оказалось и ватное одеяло в грязном пододеяльнике, свисавшее со спинки стула.

Бенедиктов снял с ладони мертвеца «ГТ» — в магазине не хватало одного патрона; гильзу от него он нашел в пыли под книжным шкафом. Ракетница, совсем новая, валялась в углу, у подоконника, рядом с металлической, серого цвета, коробкой. Сидя на корточках, он откинул полукруглую крышку, вложил в гнезда ракетницу и гильзы.

Потом осмотрел окно. Одна створка была прикрыта неплотно — в щель за эти дни надуло снежный бугорок

с мягкими неправильными обводами. Окна выходили на набережную — место весьма удобное для наведения на цель бомбардировщиков, — балкона не было, карниза тоже.

Между тем Жуков, показавший Бенедиктову все, на что, по его мнению, следовало обратить внимание (Бенедиктов сразу оценил опыт и высокую квалификацию милицейского оперуполномоченного), остался как бы не у дел. Он потоптался в нерешительности, потом остановился подле трупа, вглядываясь в перекошенное, с отвисшей челюстью лицо Лукинского. «Вражина, сволочь вонючая», — услышал Бенедиктов злой шепот, и ему показалось, что Жуков сейчас пхнет труп.

— Чья комната в коридоре слева? — спросил он.

— Соседей, — отозвался Жуков. — Муж, лейтенант РККА, на фронте, жена с девочкой тринадцати лет в эвакуации с сентября месяца.

— Ну, хорошо, посидите пока...

Набросав план квартиры, Бенедиктов осмотрел замок входной двери, коридор, кухню, удостоверился, что комната соседей прочно заперта, и принялся за вещи Лукинского.

Первый же выдвинутый наугад ящик письменного стола ломился от бумаг. Бенедиктов покачал головой и зажег стоявшую тут же коптилку, вытряхнул на стол бумаги. Книжечка МОПРа... Не надо, в сторону...

Пачка жироприказов... Туда же...

Диплом.

«Выдан Лукинскому Евгению Викторовичу в том...»

Нужно, обязательно...

Журнал «Вестник кораблестроения», 1935 год. Статья Лукинского... Может пригодиться...

Черновик статьи... К журналу...

Детский рисунок цветными карандашами — корабль со стреляющими пушками; на обороте кривые печатные буквы:

Невольно умилился: детей у Бенедиктова не было, а любил их... Не надо, в сторону...

Удостоверение Осоавиахима... «Ворошиловского стрелка»... Не надо.

Письмо:

«Милый мой чернобровенький... Когда становится тошно, вспоминаю твои...»

Еще письмо:

«Уважаемый Евгений Викторович! Статья Ваша представляет значительный интерес и содержит... доктору технических наук, профессору З. В. Токмаку... надеемся на...»

Еще:

«Женюрка! Бить тебя некому, злодея! Забыл нас совсем... Ирина Лукинична прихварывает... Фрукты на рынке еще дороги...»

Все письма собрать вместе. Надо...

Папка с фотографиями. Лукинский, видимо, с женой и сыном на фоне «американских гор»... Двое каких-то пожилых людей (мужчина и женщина) ... Лукинский выступает с кафедры... Лукинский в седле, в красноармейской гимнастерке... Групповая фотография выпускников института... Лукинский с женой среди гостей за праздничным столом... Надо...

Справка о прививке Лукинскому оспы... Боже, сколько-ни бумагами обрастает человек за жизнь!.. Не надо...

Школьная тетрадь.

«Надя, Надюша, бесценное сокровище мое, не уберег тебя... Чувствую себя подлецом, убийцей, предателем... Имею ли я право жить с ним?..»

Любопытно. Очень важно!..

Квитанция на починку часов... Не надо.

В верхнем среднем ящике он сразу увидел сберегательную книжку, раскрыл — остаток тысяча сто тридцать девять рублей шесть копеек. Из глубины выгреб облигации займов вместе со смятыми, неряшливыми блокнотными листками, беспорядочно исписанными какими-то формулами. Деньги — двести восемьдесят шесть рублей, хлебные и продуктовые карточки (последний талон на хлеб — за девятое число) лежали тут же, на самом виду. Ограбление исключалось. Деньги, облигации, карточки и книжку Бенедиктов завернул отдельно.

От сосредоточенного внимания, тусклого света коптилки он быстро устал, почувствовал слабость, головокружение. Для передышки занялся железной печкой-буржуйкой, полной бумажного пепла. Вынув с предосторожностями хрупкие, скореженные огнем лепестки, увидел строчки типографского шрифта и сунул обратно.

Блокнотные странички с формулами внесли какое-то смутное беспокойство. Бенедиктов просмотрел их более внимательно: формулы перемежались с какими-то схемами и набросками необычных судов, напоминающих подводные лодки. На одном, вверху, небрежной скорописью было написано (Бенедиктов с трудом разобрал слова):

«Расчет необходимой мощности паровой турбины».

Хм... Повертел листки...

И вдруг мысль, пришедшая в голову, заставила его с поспешностью поставить коптилку на пол. Помогая фонарем, он разглядывал половицу за половицей затоптанного, в пе-

ске и пыли паркета, пока с удивлением не натолкнулся на след кружка с пятикопеечную монету, должно быть, от резинового наконечника костыля. Бенедиктов не припомнил, чтобы Лукинский был ранен или жаловался на ноги. Значит, кто-то его посещал? Костылей было два — следы вели в коридор и прихожую.

Проверил на всякий случай квартиру и, не найдя костылей, снова присел на корточки в комнате. Он уже потерял было надежду найти то, что искал, как возле кровати увидел серую спекшуюся крупинку, еще несколько было рассыпано поодаль... Боясь дышать, Бенедиктов собрал их на чистый листок бумаги. Потом поднялся, удовлетворенный, потряхивая кисть руки, которую до судороги свела «динамка».

Дубовый шкаф, общипанный топором сверху, с боков, без ящичков, с остатками резных дверец, в другое время навел бы на размышления о душевной болезни Лукинского, но Бенедиктов как бы не заметил этого. Его интересовало стекло. Мутные, захватанные стаканы сохранили множество отчетливых отпечатков пальцев...

Кроме стекла, грязной посуды, пустых консервных банок да каких-то тряпок, в буфете ничего существенного не оказалось, за исключением, пожалуй, нескольких рисовых зерен: они явно не были просыпаны, а аккуратно выложены на самой середине платочка фиолетового шелка с кружевной отделкой. Зачем?

Не найдя объяснения, Бенедиктов завернул их в платочек и положил к вещам, предназначенным для изъятия.

В этот момент в дверь забарабанили так, будто, спасаясь от преследования, кто-то искал в квартире убежища. Кроме врача, вызванного от Калинова, стучать было никому. И все же Бенедиктов на всякий случай снял предохранитель с пистолета и пошел открывать.

— Покойника разбудите, — недовольно пробурчал он, впуская крупную, мужеподобную Верочку Мелик-Еганову,

врача военно-морского госпиталя, — и соседей напугаете. Как дошли?

— Не говорите, цела, — громко сказала она, по-солдатски топая по коридору. Увидела Жукова и паспортистку — поздоровалась. — Пока, тьфу, тьфу, Бог милует. Только подумайте, хотела сократить путь, перейти Неву по льду, уже спустилась, и — артобстрел. Чуть ли не первый снаряд как раз угодил в тропинку на самой середине. Сколько крови, сколько людей под лед пошло! Пришлось задержаться, помочь чем могла. А могла и там быть... Изуверы, изверги, слов нет!..

— Действительно милует, — сочувственно отозвался Бенедиктов, подумав, насколько свyksя он с бомбардировками и обстрелами, что даже не обратил внимания на пальбу. — Это в каком же месте?

— Напротив Медного всадника.

Он подвел Мелик-Еганову к трупу. Она приподняла Лукинского за плечи; Бенедиктов помогал ей, освещал одновременно коптилкой и фонарем голову — вся правая половина лица Лукинского посинела, хлынувшая из развороченного пулей виска кровь запеклась, сквозь черные корки проступала рваная кость.

Намеренно не высказывавший своих соображений, Бенедиктов молчал, с нетерпением ожидая, что скажет врач. Ему показалось, что слишком долго она осматривает рану. А она сильными пальцами расстегнула пальто на Лукинском, оголила его тощую шею, грудь...

— Самоубийство, — сказала она, выпрямляясь. Сняла резиновые перчатки, заправила под шапку выбившиеся рыжие волосы. — Я вижу здесь самоубийство.

— Значит, по-вашему, убийство начисто исключено?

— Я бы так не сказала. Вероятность убийства никогда не может быть полностью исключена. Но в данном случае я, честно говоря, не верю в него. — И после минутного молчания прибавила: — Если убийство, то весьма умелое

и аккуратное. Так или иначе, мы отправим труп на экспертизу, и тогда уже никаких сомнений не будет.

— Да, пожалуйста, только сделайте это в максимально короткий срок. Нам необходимо иметь заключение завтра, — сказал Бенедиктов, садясь за составление документов.

Когда бумаги были подписаны, он дунул на пламя копилки и, кашлянув от поплавшей по комнате керосиновой вони, поблагодарил всех и разрешил расходиться.

3. ШКОЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ

Всего какую-нибудь неделю назад Бенедиктов обедал с Лукинским за одним столом в кают-компании, закутке, отгороженном для комсостава от общей столовой.

Его сутулая фигура появилась в тот момент, когда официантка Варенька принесла Бенедиктову жидкий пшенный суп. Лукинский сел напротив, потянул носом: «Ну-с, что сегодня подают?» — «Все то же, Евгений Викторович, все то же...» — улыбнулся Бенедиктов. «Хорошо, что я не гурман. Вы когда-нибудь имели дело с гурманами? О, прелюбопытнейший народ!» И, не ожидая, что ответит Бенедиктов, рассказал про своего знакомого, который варил сосиски в сливках, посыпал свиную тушенку сахарным песком, а зеленый горошек перемешивал с яблочным вареньем — подобные комбинации назывались у него «симфонией вкуса».

За тем же обедом разговорились о штормах (на улице было ветрено, и Балтику наверняка штормило); Лукинский вспомнил, как однажды на испытательных стрельбах в Финском заливе его смыло с катера. Четыре часа швыряло его в волнах — держал капковый жилет, — и уже в темноте, когда мутилось сознание, его нащупали прожекторами и подняли на буксир. «И знаете, что спасло меня? — задержал он ложку у рта. — Жить хотел, верил в спасение,

убежден был, что спасут. Думаете, мистика? Не-ет. Мы совсем не изучаем психологический фактор, а зря...»

Жить хотел... Тогда. А теперь?

Бенедиктов сидел за письменным столом в кабинете на Литейном. Рядом, возле сейфа, заправленная койка на случай нужды заночевать. Настольная лампа под зеленым абажуром; разложенные на кучки бумаги Лукинского. Тепло от батарей, электрический свет — в немногих домах такое блаженство! — напоминали довоенную жизнь, домашний уют, но Бенедиктову, как бы ему ни хотелось, нечасто удавалось тут задерживаться. «Тасю бы сюда, хотя бы на недельку, — думал он каждый раз о жене. — Как она страдает от холода!»

Взялся за бумаги.

Лукинский... Лукинский... Проступило призрачно лицо — узкое, с высоким лбом, седые реденькие волосы, набухшие веки над воспаленными близорукими глазами — выглядел он явно старше прожитых сорока лет.

В части отзывались о нем кто как: недобрый, порядочный, излишне импульсивный, непрактичный, лишенный честолюбия, «не скованная условностями индивидуальность» и проч., сходясь в одном, что инженер он талантливый и яркий. Но что бы ни говорили про Лукинского, подозрений в его тайных общениях с врагом ни у кого, в том числе и у Бенедиктова, не возникало.

Теперь же не подозревать его было невозможно. Бенедиктов просмотрел характеристики. Они были хорошие, с упоминанием заслуг и утверждением политической грамотности и моральной устойчивости Лукинского, как, впрочем, большинство официальных характеристик.

Письма Лукинского никакого интереса не представляли — семейные дела, мимолетный роман довоенной давности, домашние заботы, приветы, поцелуи... И круг лиц невелик. Бенедиктов переписал фамилии в блокнот, потом отыскал школьную тетрадку, привлекающую его внимание еще на квартире инженера.

«Надя, Надюша, бесценное сокровище мое, не уберег тебя, не уберег Егорку, чудо наше, длинноногого несмышлениша. Только-только начинал открывать для себя мир человек, восторженно смотрел на него с любоб(ытством) и доверч(ивостью) блестящими глазами. Что показал я ему? Жестокость. Что дал достат(очно) поживший на этом свете и обязан(ный) стать мудрым отец?..

Не уберег, а сам остался. Нет мне оправд(аний). Чувствую себя подлецом, убийцей, предателем. Может ли быть что-н(ибудь) тяжелее такого груза? Имею ли я право жить с ним? («Обратить внимание на абзац 2 первой страницы», — пометил у себя в блокноте Бенедиктов.)

Однажды перед сном Егорка спросил меня: «Папа, а люди обязат(ельно) умирают? Все-все? И мама умрет, и ты?» Я ответил, тогда он спросил печально: «И я умру?» — «Да, — сказал я, — и ты тоже, но это будет очень нескоро. К концу жизни люди устают, для них см(ерть) не кажется такой ужасной, они готовы к ней». Он мне не поверил. «Как это так: я — и вдруг умру? — сказал он. — Все останется, а меня не будет. Нет, так не может быть...»

Оказ(алось), может. Ах, малыши мой, малыши!.. Знать бы тогда, что готовано тебе!

Сколько мне еще отпущено? Ск(олько) бы ни было до конца, до последнего буду казнить себя за легкомыслие, нерасторопность, за чудов(ищно) неверно принятые реш(ения). В жизни принимаешь их много. Но есть главные, ты обязан решать их прав(ильно). Почему не от-правил вас из Л(енингра) да тогда, в начале августа? Ты бы, добрая... душа, защитила и оправдала бы меня. А я не

буду. Разумеется, мы многого не знали. Но у меня-то копошились такие мыслишки: как же я ост(анушь) без Наденьки? Не привык я быть один. Одному мне неудобно. Знала ли ты, что для меня, каприз(ного) ревнивца и бело-ручки, ты была всем?! Я без тебя — беспомощен.

Был ли я для тебя всем? О, если бы так!

Вечная трагедия: чел(овек) оценивает себя и свои пост(упки) после случившегося, когда невозможно ничего поправить. После, а не до!

Всегда ли я был справедлив к тебе? Нежности мне не хват(ало), раздражался по пустякам. И слабости мои, будь они прокляты... Ск(олько) было великолепных мыслей, идей, ухватиться бы за одну и тянуть! Неудачи сбивали с ног, кидало из стороны в сторону. Тебе же хотел доказать, что я чего-нибудь стою. Как я тебя любил!

Зачем я пишу? Не знаю...

Нет, знаю прекр(асно), лгу сам себе. Карандаш и тетрадь — мое спасение, жалкий остаток моей жизни. Кое-как поддерживал еще интерес к нерешенной задаче, но вчера и этому конец. («О какой задаче идет речь? Страница 3», — записал Бенедиктов.) Что же дальше? Пустота? Раньше у меня никогда не возникало потреб(ности) писать. Потреб(ность) — та же необх(одимость). Зачем было уединяться с мертвой бумагой, когда не успевал жить, когда рядом была Наденька, был Егорка, были милые С., стеснительный до болезненности молчун Т., язвительный, парадокс(ально) мыслящий Ч., наконец, Б. В прошлом. С. все в могиле, у Т. свои заботы, Ч. уехал с заводом на Урал, Б. ... Б. жив, но для меня умер, след(овательно), не существует.

Боже мой, какая жуткая тоска! Как страшно сидеть одному, в пальто, да еще под одеялом, в этой хол(одной) прокоптелой халупе, смотреть на туск(лое) пятно коп-тилки и думать, думать... Пытка, самоистязание. Когда водишь карандашом — легче. Вроде бы дело. Не дело, кон(ечно), видимость одна, но отвлекает.

Раздобыл две доски в разр(ушенном) доме. Разбил стулья, кроме одного. Теперь щеплю буфет. Экономлю для растопки. Топлю Брокгаузом. Том на день и еще кое-какие книжонки. Все равно холодно, тепла хватает на полч(аса). Вода в кружке не вскипает. Мерзнут ноги, пальцы, пишу в перчатках, весьма неудобно».

Чувствуя, что перестает улавливать смысл, Бенедиктов отложил лупу, выпрямился, потер слипающиеся веки, полистал вперед странички — еще порядочно! Лукинский писал твердым карандашом, прорезавшим бумагу, почерк у него был дрянной, к тому же, торопясь или из-за экономии, он обрывал слова.

Сняв китель, Бенедиктов повесил его на спинку стула. Потом сходил к титану на этаже, налил стакан кипятку и, вернувшись, отпил несколько глотков.

«Память — как сбившийся маятник: прошлое — настоящее — прошлое — будущее... О будущем стараюсь не думать. Оно неясно, но я верю... («Во что?» — написал для себя Бенедиктов, обозначив страницу.) И знаю: меня оно не коснется. (Отметил в блокноте и эту фразу.)

Вчера шел по каналу в часть. Тихо и пустынно. Только впереди брела старуха. Поковыляет — и за стену. Потом совсем сдала — схватилась за водосточную трубу, клонится к земле. Попробовал ее поднять, увидел — не старуха, а барышня, лет двадцать ей — дочка наших соседей

по дому. Знал ее очаровательной девчоночкой, вся в кудряшках, умница. Что стало? Лицо ссохлось, пожелтело, в морщинах, под глазами мешки, губы синие.

Повел ее к дому. Повисла на мне. Тяжело, самого ноги не держат, одышка. «Оставьте меня, идите», — а сама глотает воздух. Тащил ее, пока не выдохся. Посадил на тумбу, пошел.

Когда возвращался, она сидела на том же месте. Было все ясно.

Представил мою бедную Н. Поднял ли ее кто-нибудь? Или прошел мимо? На какой улице нашла она свое последнее пристанище? У какого дома? А может быть, бомба, снаряд?.. Лучше не думать.

Скрипнула дверь. Это наша хозяйка пошла в хлев доить корову. Н., заспанная, в халатике, ворча сует мне крутые яйца, бутерброды и бутылку с водой. Е. спит. Солнце еще низко, тени длинные, прохладно. Я иду с удочками по густой матовой траве — ноги мокрые от росы, — прохожу рожицу с молодыми березками и каждый раз люблюсь ими: нет в природе более красивого дерева! Река таинственная, тихая; туман уже приподнялся над темно-желтой водой. Сажусь у омута; молодежь стайками резвится на солнце у песчаного берега. Поплавок недвижим... Вдруг набегаёт ветерок, воду передергивает мелкой рябью, как тело мурашками, — и снова покой, тишина! Какая благодать! Родина моя, Русь! Сколько топтали тебя иноязычники сапогами, копытами, колесами, гусеницами, жгли, рушили, грабили! Сколько страданий вынесли люди! И эта цивилизованная орда туда же... Они у тех березок, у того омута, они подобралась к моему дому, убили мою Н., убили моего Егорушку. Ненависть и проклятье! Казалось бы, умные, а — глупцы. Не понять

им, что вечна Россия, никто и ничто не может ее скрутить. Никто и никогда. (Бенедиктов отметил последние строчки.)

Беда сближает, большая беда — объединяет. Когда умер Егорка, трое разных людей из отдела предлагали мне перебраться к ним жить. И даже Елс. — кто бы мог подумать! — личность мне, в общем-то, несимпатичная. Но в данном случае это неважно. Наоборот. Зов еле стоящих на ногах людей быть вместе, не разъединяться, делить крохи из общего котла на всех и сообща выжить не может не вызвать восхищения. И вот этот человек. Познакомился с ним в очереди за хлебом. Не запомнил сразу его имени и отчества — кажется, Сергей Степанович, — а теперь спросить неловко. Обязан ему чрезмерно поддержкой в тяжкие минуты. («Стр. 11. Знакомство», — написал в блокноте Бенедиктов и поставил жирный восклицательный знак.)

Опять налет. Дрожат стены. В бомбоубежище не хожу. Упадет бомба, черт с ней, пусть только прямо сюда. Все опостылело, все мерзко. («И следующий абзац. Настроение», — записал Бенедиктов.)

Все в мире имеет свою привычную и устойчивую цену. В обычное время. Сейчас же, как на бирже в панику: одни цены подскочили, другие — под ногами. Все-му другая мера, другая цена — жизни, хлебу, золоту, книгам, доброте, подлости.

Думаю о Б. Против своей воли. Потеря его не причиняет ни горечи, ни печали. Серая пелена на сердце — и все.

Но как-никак почти пятнадцать лет короткого знакомства...

Его любила моя мать. Он стал как бы моим братом и вторым ее сыном. У нее вызывало сострадание детство Б.: крестьянский мальчишка, сирота, заморыш, изгой. Он рассказывал, как избивали его до крови хозяева, кормили помоями, издевались и пр. Может быть, то же самое чувство, но, может быть, и моя невольная вина перед ним заставляли меня прощать ему многое до самого последнего времени. Но не все!

Он воевал против Деникина, потом работал молотобойцем в кузне. Я тоже был на фронте, под Петроградом. И тоже учился с пятого на десятое. И вот нас свело вместе, великовозрастных рабфаковцев, за одной партией. Меня поражали его цепкий ум, склонный к анализу, и жажда знаний. Он жил у нас неделями. Мы занимались до умопомрачения, как могли, развлекались и ничего не таили друг от друга. Доверие и искренность — величайшие блага дружбы, ее основание. Так считал я. Он уверял меня в том же, но позднее я убедился, что для него это были лишь слова.

До мелочей помню тот бесподобный летний день — день, с которого начались испытания нашей дружбы. Но все равно прекрасно, что он был!

Я ждал Б. на набережной у Летнего сада. К удивлению, он пришел не один. «Знакомься, Фефела». Ошеломили синие глаза и синий берет — первое мгновенное впечатление. Она рассмеялась звонко, протянула руку: «Надя». Мы поехали на водном трамвайчике в ЦПКиО, катались на лодке, шиканули в кафе на открытом воздухе. Все удавалось в тот день. Мы с Б. изоцрялись в остроумии, развлекающая Н., дурачились, было весело, свободно, и казалось, что мир безоблачен.

Наши прогулки повторялись. Каждый раз я ждал их с волнением: меня безудержно тянуло к Н. Когда Б. в очередной раз не пришел по какой-то случайности и мы оказались вдвоем, я понял, что ей тоже не только не безразличен, но и больше. Я проводил ее до дому и назначил свидание; через день мы встретились вновь. Но свидания мне были не в радость. Меня угнетало сознание, что совершаю нечто нечестное, мерзкое за спиной Б., и я решил ему открыться.

Три часа мы бродили по улицам. Он выслушал меня и упрекнул раздраженно, с обычной своей грубоватостью: зачем я лезу к нему с дурацким благородством, кому оно нужно в XX в.? Так мужчины не поступают. Раз повезло — бери. Или я хочу сохранить в целости овец и сытыми волков? Я дал ему понять, что он волен поступить по своему усмотрению. Б. сказал, что даже красивая женщина не стоит этой штуки (он имел в виду дружбу?) и вопреки обычным понятиям, из-за доброго отношения ко мне, хотел бы оставить все по-прежнему.

Я без колебаний поверил в искренность его слов, поступок его меня восхитил, признательность моя была безмерна.

Первое время я не замечал перемен. Мы с Н. поженились. Б. пришел с букетом цветов на нашу скромную свадьбу, пришел с какой-то не известной нам девушкой; тост его был остроумен и проникновенен.

В тот год мы окончили институты, все вместе отпраздновали это событие. Потом появился Егорка. Б. посещал нас часто, каждый раз знакомя с новыми девицами, что давало нам с Н. повод подтрунивать над ним. Дольше других держалась Лариса У., удивительно неинтересная и глупая женщина.

Дела мои, недавнего студента, складывались более чем удачно. Меня назначили старшим инженером, руководителем группы, отметили в приказе. И тут до меня стали докатываться слухи, будто я пустоцвет как инженер, выскочка и т.д. Я не обратил бы внимания, если бы услужливые люди не сообщили, что они исходят якобы от Б. Поверить подобной чепухе я не мог, тем более что Б. разрабатывал в диссертации мою идею, подаренную ему не так давно. Я видел ее перспективность и собирался заняться сам. Б. был от нее в восторге, называл меня «гением» и выпросил ее. Я отдал без колебаний, в надежные руки. Когда его затирало, он звал меня на подмогу, мы вместе искали продолжение, сидели допоздна и рассчитывали.

И все же злые языки делают свое дело. Как-то раз я спросил Б. напрямик о неприятных для меня разговорах. Он не удивился, не возмутился, а стал допытываться, кто и что мне сказал, уверяя, что это недоразумение, его не так поняли, речь шла не обо мне и проч. Мне стало отвратительно дотошное разбирательство, выискивание несущественных мелочей, и я сам же поспешил оставить эту тему. Для меня было важно одно: разговоры — не выдумка.

После защиты диссертации с Б. произошла метаморфоза. У него появился шутивно-снисходительный тон мэтра, при каждом удобном случае он по-дружески, но с оттенком превосходства старался поучать меня, как жить, чем заниматься, с кем поддерживать отношения. Я понял: он...

Писать становится трудно. Мысли рассеиваются. О чем я?.. Да, понял я, что он стремительно строит себе карьеру, любит себя и меняет круг знакомств. К этому времени он женился на разведенной профессорше,

бездетной и старше его на шесть лет, с которой у нас с Н. не нашлось ничего общего. С исчезновением искренности отношений исчезло желание видеть друг друга. Мы встречались все реже, больше визиты вежливости, чем по велению души, говорили прежде всего о делах и меньше о личном. Он был все так же обаятелен — и это каждый раз подкупало — и говорлив. Но, стоило нам разойтись, оказывалось, что вспомнить не о чем. Пустота.

А потом вся эта некрасивая — не хочу другого слова — история с моей диссертацией... Не могу вспомнить, противно... Мне бы не подавать ему руки, но он каждый раз встречал меня с такой радостной улыбкой, так жал руку и хлопал по плечу, что я отказывался верить в двуличие, мелочность и мстительность Б. Хотя Н. не раз говорила: «Берегись Б., он нехороший человек — честолюбивый и завистливый себялюбец».

Последний раз я пришел к нему, когда умирал Егорка. Пришел в отчаянии, как нищий с протянутой рукой, к единственному все же близкому человеку. О гибели Н. он не знал. Ег. — одни косточки — ослаб и не вставал: понос. Он тихо звал мать и все время просил что-нибудь поесть. Это была моя боль. У меня все разрывалось внутри от его тоненького угасающего голоса и собственного бессилия. Б. был последней моей надеждой: все-таки пост его, наверное, давал ему что-нибудь, к тому же он один — жена в эвакуации.

Он слушал мое бессвязное бормотание, вздыхал, качал головой. И понес всякие бодренькие словеса — крепиться, держаться, быть мужчиной, будто я без него не знал. Помощь мне была нужна, на худой конец — сочувствие, а не пустые слова. Лучше молчание.

Помочь Егорушке он не смог ничем. Сокрушался, произнес тысячу извинений — по всем правилам приличия — за пустоту в доме. Я собрался было уходить, и вдруг мне показалось, что на письменном столе за бумагами какая-то горка, прикрытая газетой. Нечто сыпучее — крупа, мука, сахарный песок? Вздор, конечно.

Меня мучают галлюцинации — все чувства срываются на еду. То просыпаюсь от стука разрубаемого мяса, то не могу отвязаться от назойливого запаха куриного бульона. Недавно шли с Д. мимо развалин дома, и вдруг я полез на кирпичи: я совершенно ясно видел валявшиеся полбатона — с рубчиками на корке, не отрезанные, а обломанные полбатона. Чушь, откуда могли взяться батоны? Какую-то тряпку принял за хлеб...

Все-таки я попросил у Б. воды. Когда он вышел в кухню, я запустил руку под газету. Как ошпарило: рис!! Взял щепотку в карман. Чтобы не обвинить себя после в галлюцинациях.

Я не испытывал ненависти к Б. Пожалуй, нет ее и сейчас. Невероятно, но тогда я почувствовал неловкость от того, что уличил его во лжи и что ему могло быть передо мной стыдно.

Ушел оглушенный, теребя в кармане этот несчастный десяток зернышек. Дома рассмотрел их как следует: добротный рис.

Правда, Егорке уже ничто все равно не помогло бы. Он умер на следующий день.

Не слишком ли много о Б.? Бог с ним...

Есть вещи, которые один человек не простит другому никогда, хотя по законам морали его поступок нельзя считать тяжким. Не простит потому, что оценки поступков воспитаны в человеке всей его собственной жизнью, его представлениями о ней, а одинаковых жизней не бывает. То, что одному кажется чудовищным и непрощаемым, другой может простить с легкостью.

Совсем зарос я в своей пещере. Взял тряпку, провел по столу и бросил эту бессмыслицу. На что стали похожи наши светелки! Все в копоти, в пыли, кругом развал; на потолке в углах сверкает иней, из окон свищет. Бедная Наденька, великая ценительница домашнего очага, уюта, пришла бы в ужас. Оказывается, надо не так уж много времени, чтобы пустить все прахом. Каких-нибудь полгода.

Фантастически далеким кажется то время, за полугодовым барьером. Другой век, другая эпоха. Да и было ли оно? А если было, то я ли жил тогда?

К нам приходят гости. Сюда. Закрываю глаза и открываю. Они сейчас вместо театрального занавеса. Тьма исчезает — яркий свет. Горят все лампы. Тепло, все сверкает, из кухни текут умопомрачительные запахи пирогов, жаркого, свежих огурцов... На столе коньячок, графины с водочкой, салаты. В прихожей гудит Ч., что-то рассказывает; раскатисто смеется Б. Я завожу патефон, выхожу к ним. Н. в любимом мной крепдешиновом платье, раскрасневшаяся, стройненькая, ножки точеные, хлопочет у стола, бежит в кухню. Приходит Т., а С., как всегда, опаздывают: задерживают дети.

Наконец все в сборе, садимся за стол, наполняем рюмки. Н. успевает шепнуть с мольбой в голосе, чтобы я не пил слишком много. Она постоянно на страже моего здоровья.

Я, разумеется, даю слово, но не сдерживаюсь, и на следующий день приходится приложить немало усилий, чтобы Н. улыбнулась и начала разговаривать со мной. Но пока все хорошо, Ч. сразу завладевает вниманием каким-нибудь замечательным и смешным случаем. С ним всегда происходит что-то необычное. И он умеет подать его в наилучшем свете. Потом начинается общая болтовня, и Ч. подбрасывает кость: например, сознает ли человек, что в каких-то случаях он поступает подло? Волен ли он препятствовать этому? Или человеческая природа сильнее его желаний? С. замечает, что не видит предмета спора: конечно, сознает! Подлец совершает подлость, зная, что делает, но сам себе так ее не назовет, слишком уж мерзостно это слово. И будет бешено сопротивляться, если кто-нибудь скажет об этом прямо. Знает, конечно, знает! Если бы люди не знали, что поступают подло, не было бы подсиживаний, карьеризма, подметных писем... «Ну вот, очевидное упрощенчество, — качает головой Ч., и усы его топорщатся от несогласия, — позвольте, у меня есть другое мнение на этот счет...» Я принимаю сторону С., но с оговорками, Б. с ним не согласен совсем, и баталия началась!

Сколько за историю выпито в спорах и мечтах о совершенстве себе подобных! А к совершенству люди не торопятся. Возможно ли оно? И нужно ли? «Скучно будет жить, если все станут совершенными» (мысль Б.). «А поножовщина — весело?» (реплика С.). «Если бы была возможность, интересно проследить, какие пороки отмирают или уже исчезли, а какие оказались живучими и процветают. И может быть, появились новые, которых, например, древние греки не знали» (мысль Т.).

Глаза его. Вот что вызывает какое-то неясное чувство смятения. Проснулся сегодня ночью оттого, что увидел их перед собой в темноте. Объяснить не могу, в чем дело. Гла-

за как глаза. Впрочем, кажется, улавливаю: они — часть другого лица; они должны принадлежать человеку угрюмому, с неподвижным лицом. У него же лицо живое.

Всякое несоответствие настораживает и пугает. (Бенедиктов переписал эту фразу себе в блокнот.)

Но сказать о нем плохо не могу. Малость зануден и назойлив. Зачастил ко мне, отказать ему приходится я не в силах. Удивительно: мне тяжело и противно одиночество, но и приятно.

Он тоже одинок, погибла вся семья, сам израненный, и, видимо, его влечет к такому же бедолаге. А иногда приходит в голову, будто ему что-то нужно от меня, чего-то он недоговаривает. Мне многое сейчас чудится, себя не узнаю.

На следующий день после нашего мимолетного знакомства он неожиданно появился у меня. Подняться на костылях на пятый этаж — не халам-балам, как говорил Ч. Но еще больше поразило (и тронуло!), когда он вытащил из кармана бутылку спирта и банку довоенных крабов! С куском дуранды в придачу. Славное сочетание — крабы с дурандой! Все было кстати: я совсем раскис после потери Н. и Е. А тут ожил. Человек он общительный и неунывающий. Сыплет анекдоты сомнительного юмора.

Себе могу признаться, что устаю от него, разные мы люди, строй мыслей разный.

Опухают ноги. Слабость, клонит ко сну. Сегодня утром выпал еще один зуб, соседние шатаются. Если так пойдет дальше, скоро буду шамкать, как столетний старец. Что меня ждет?

Прочь черные мысли!! («Костыли. Неясность и беспокойство, — записал Бенедиктов. — Обратить особое внимание на стр. 38—39».)

Вспоминаю август. Уже война. Лето. Тепло, зелень. Только что вернулся с окопов. Радость встречи с Н. Город изменился. Окна в бумажных крестах. В скверах, дворах — щели. Отряды ополченцев. Идет эвакуация, а народ прибывает. Беженцы. В коммерческих магазинах очереди. На улицах столы с книгами. Сколько вдруг появилось прекрасных книг!

Поехали с Н. и Ег. к памятнику Кирову. Там на площади трофеи — «Юнкерс», бронемашина, танкетка. Черные, с крестами, пахнущие бензином и маслом. И прекрасные пробоины. Толпы любопытствующих. Егорка прыгает на одной ножке, едим мороженое. «Папа, зачем люди воюют? — спросил он. — Ведь это больно». На окопах нависался всякого, а тут — уверенное спокойствие. Воздушные тревоги, как учеба: тревога — и скоро отбой. Самолеты где-то там, далеко, к Ленинграду не подпустят. Н. сказала: ...»

«Что она сказала, мы не узнаем, — подумал Бенедиктов, закрыв тетрадку, встал. — Не узнаем...»

Когда Жуков впервые назвал фамилию Лукинского, Бенедиктов усомнился в самоубийстве, но, приученный к выдержке, даже не намекнул об этом Жукову и Калинову. И потом, несмотря на заключение врачей, сомнение не покидало его. Тетрадь, открывшая Лукинского с совершенно иной стороны, все-таки не прояснила то, что больше всего интересовало Бенедиктова: мог ли он, надломленный и растерявшийся, по собственной воле расстаться с жизнью?

И да, и нет...

Склонив крупную голову, Бенедиктов ходил по комнате от стены до стены — руки за спиной, брови насуплены. Что делал у него инвалид? О чем они говорили, кроме анекдотов? Не означает ли фраза «Разные мы люди, строй мыслей разный» попытки склонить Лукинского к чему-то?

Если допустить, что ракетницу принес инвалид, то связана ли смерть Лукинского с сигналами из его окна? Разве не мог этот человек, узнав, что Лукинский мертв, проникнуть в квартиру и воспользоваться ее удобным расположением? Или они были сообщниками? Наконец, инвалид мог убрать Лукинского по каким-то соображениям. Каким?

Вдруг у Бенедиктова брови поползли к переносице; кинулся к столу, выхватил листки, исписанные аккуратным, с завитушками почерком Жукова. Вот:

«...кроме них я видела у парадной дома номер один инвалида Великой Отечественной войны. Больше добавить ничего не имею. Юрышева».

4. МАТЬ И ДОЧЬ

Свернув за угол, Бенедиктов прошел шагов полтораста утопающей в неубранном снегу улицей, отыскал парадную в старом, дореволюционной еще постройки доме, поднялся по скользкой лестнице на третий этаж. Постучал.

Долго никто не открывал. Дверь приоткрылась довольно неожиданно — Бенедиктов не слышал шагов. Перед ним стояла девочка лет восьми-деяти в зеленой шерстяной кофте, надетой поверх пальто, страшно худая, бледная, с голубыми удивленными глазами и грязными разводами на лице. Должно быть, незадолго до его прихода она плакала: на ресницах блестели капельки.

— Вам кого надо? — спросила она, отступив на шаг.

Бенедиктов, не ожидавший увидеть ребенка, спросил, живет ли здесь гражданка Юрышева, и шагнул в прихожую.

— Мама, к тебе пришли! — слабенько крикнула девочка, не двигаясь с места и с любопытством разглядывая его.

— Кто там? — послышался глухой голос из ближайшей слева комнаты.

— Какой-то дяденька, моряк...

Из комнаты донеслись шевеление, вздохи, заскрипели половицы — наверное, женщина лежала и теперь, готовясь выйти, одевалась.

— У вас хлебушка нет? — тихо спросила девочка, в глазах ее затеплилась надежда.

Бенедиктову стало не по себе. С нахлынувшим чувством жалости и одновременно нежности к этому голодному ребенку он нагнулся и погладил девочку по жиденьким, спутавшимся волосам.

— Нет, моя дорогая, у меня ничего нет, — проговорил он как только мог мягко, досадуя и стыдясь своей беспомощности.

Разочарованная, она увернулась от его ласки и, втянув мерзнувшие руки в длинные рукава кофты, встала возле двери.

Тяжело ступая, вошла мать. Лет тридцати, тоже голубоглазая, с нездорово полным лицом, она одной рукой оперлась на косяк, другой придерживала у шеи черный платок. Опухшие ноги были с трудом втиснуты в валенки с разрезанными вдоль голенищами.

— Что же вы тут стоите, проходите, — сказала она, кивком приглашая в комнату.

Бенедиктов вынул свое удостоверение, сказав, что хотел бы с ней поговорить. Она повертела его и, не рассматривая, вернула.

— Да ладно, чужие не придут.

Как всякую женщину, ее больше беспокоил беспорядок в комнате. Она освободила часть стола, заваленного мелочами, переставила на комод миску с коричневой вонючей жижей, сняла тряпки с жесткого кресла, предложила Бенедиктову сесть, сама села на диван.

— Вы давно здесь живете? — спросил он, чтобы завязать разговор.

— Да я здесь родилась, — подернула плечами Юрышева. — Раньше вся квартира была наша — три комнаты.

Потом старики мои умерли, нас уплотнили, въехали соседи. А сейчас мы с Валюшей снова одни. Живем... Хотела сказать «хлеб жуем», но хлеба... — вздохнула, усмехнулась горько: — Да и жевать нечем. Но ничего, не сдаемся. Правда, Валюша? — Она обняла девочку, приклонившую голову ей на плечо. — Мы часто с ней думаем: вот разобьют наши фашистов, Гитлера проклятого повесят, папка с фронта вернется — и заживем, как бывало...

Бенедиктов представил ее молодой, в семье — проворная, домовитая, словоохотливая... Сколько таких гнезд разрушала война!

— Это ваш муж? — показал он на фотографию над диваном: светловолосый парень в рубашке, вышитой крестом (наверняка работа жены!), смотрел открыто и уверенно, даже заносчиво, как бы наслаждаясь своей силой и уверенностью.

Она кивнула, и тут губы ее дрогнули, скривились.

— Два месяца ничего от него не получаю. Написал в октябре и — как в воду... Конечно, письмам сквозь блокаду трудно пройти...

Она искала у него сочувствия и подтверждения своим догадкам, Бенедиктов не стал разрушать их, наоборот, придумал тут же схожий случай, будто бы произошедший с одной его знакомой, — тоже долго не получала писем от мужа, а они где-то лежали, копились, потом ей вручили целую пачку.

Юрышева посветлела лицом, Бенедиктов, продолжая, незаметно подвел разговор к интересовавшим его событиям.

— Стрелял на днях изверг. — В голосе ее появилась жесткость. — Предатель. Совсем где-то возле наших домов запускал. Раньше я в дружине состояла, так мы — женщины да мальчишки — поймали одного в сентябре, чуть не растерзали подлеца. Но не дали нам!.. А теперь куда уж мне, сил нет и ноги, как бревна. Разве за ним угонишься по лестницам и чердакам! Только злобу в себе набираешь,

думаешь: «Попадись мне в руки, стреляльщик, ждать никого не стану, сама задую».

— На днях — это когда?

— Во вторник. Вечером, поздно уже было, часов семь. Вчера меня милиционер тоже спрашивал об этом.

— Значит, ищут... — Бенедиктов качнулся в кресле, сев поудобнее. — Как получилось, что вы заметили?

— Да ведь как... Случайно. Ходила к знакомому столюру, тут, у собора он живет, клею мне обещал немного столярного. Плечусь обратно, и — воздушная тревога. Пришлось пережить в парадной. Вдруг вижу: бах, бах — ракеты... Совсем рядом, я даже подумала: не из нашего ли дома? И самолет уже воеет. Все, думаю, сейчас разбомбит.

— Так все-таки из вашего дома стреляли?

— Не знаю, по-моему, вон из того, — махнула она рукой в сторону дома напротив, где жил Лукинский, — или из соседнего... Поди, Валюша, поиграй, — заметив, что дочь заскучала, сказала она и взяла с дивана старую, без платья, тряпочную куклу с болтающимися ногами. Девочка прижала ее к груди, что-то зашептала на ухо матери. — Ладно, потом, иди поиграй, дай нам поговорить. — И, отстранив ее от себя, повернулась к Бенедиктову: — Скучно ей, не знаю, чем и занять. Все есть, есть просит. Кабы играла с кем, легче было бы, про еду реже вспоминала бы.

Бенедиктов склонил голову в знак согласия, спросил:

— После отбоя вы сразу домой пошли?

— Куда же еще?.. Страху я там в парадной натерпелась: крохотуля-то моя в бомбоубежище. Не одна, люди там, но все равно без матери. Случись что, разделяться нам нельзя, только вместе...

— Видели кого-нибудь около того дома, когда шли?

— Мало... Женщину встретила с холщовой сумкой за спиной.

Пришлось выслушать про женщину, потом узнал, что с набережной свернула на улицу другая, расспросил и про нее.

— И больше никого?

— Да, раненый еще какой-то из парадной вышел.

— Раненый? — Голос Бенедиктова упал до безразличия. — Почему раненый?

— На костылях он был. И вроде бы пальцы на руке перевязаны.

— А-а... Без ноги, что ли?

Она прикоснулась ладонью ко лбу, закрыла глаза, припоминая.

— Нет, обе были... Волочил он больную ногу.

— На двух костылях или на одном?

— На двух, на двух...

Каждое слово прилипало к мозгу, и отодрать их уже было невозможно. Бенедиктов поднял глаза на собеседницу:

— Вы сказали, что он вышел из парадной. Я правильно понял? Или он уже стоял у парадной, когда вы шли?

— Вышел. Дверь на пружине, и он сначала выставил костыль, а потом пролез сам, дверь его подтолкнула в спину.

— И он сразу пошел? В какую сторону?

— Не сразу. Постоял, закурил. Еще искру высекал, — Юрышева невольно черкнула костяшками согнутых пальцев, — и пошел в сторону Большого.

— Ага, кресало... Лицо его заметили? Молодой, пожилой, с усами, без усов?..

— Нет, где там, в темноте-то. Да я и не смотрела, случайно мимо шла, все думы о Валюшке. Сердце исстрадалось.

— Ну конечно, конечно, — торопливо проговорил Бенедиктов. — Раньше он вам тут не встречался?

Она медленно покачала головой.

— А одет как был? На голове что?

— В пальто... обычное пальто. А что на голове — не посмотрела.

Он спросил еще, но вопросы уже мало что значили, тем более ответы. Потом он искусно свел разговор на пустяки и, извинившись за беспокойство, стал прощаться.

5. ГДЕ ОН ЖИВЕТ?

То, что называлось хлебом, начинали выдавать в семь утра. Бенедиктов подошел к булочной на углу Большого проспекта, где мог брать хлеб Лукинский, незадолго до открытия.

Еще издали он увидел в темноте реденькую толпу, облепившую вход. Женщины в ватниках, в платках, туго затянутых на поясице, противясь стуже и ветру, не стояли на месте — пританцовывали, постукивали ногой о ногу, но не удалялись далеко от дверей. Мужчин было немного, и никто не опирался на костыли.

Бенедиктов выбрал место под аркой в доме напротив — не самое удобное и на ветру, зато оно позволяло, не привлекая к себе внимания, видеть каждого, кто подходил к булочной.

Вскоре стукнула дверь, мелькнул слабый, колеблющийся огонек внутри, и толпа, быстро разредившись в цепочку, почти целиком исчезла.

Где-то далеко шелкал из динамика метроном, отсчитывая секунды, минуты, часы... Хвост у магазина то увеличивался, то сокращался, потом и вовсе никого не осталось на улице.

Холод проник сквозь шинель, мелкая дрожь начала дробить тело. Собираясь покинуть неуютное убежище, Бенедиктов осмотрел напоследок надоевшую ему улицу и тут совершенно неожиданно для себя услышал за спиной тихий размеренный стук. Стук костылей — ничего другого быть не могло. Бенедиктов напрягся, задержал дыхание, соображая, как поступить.

— Товарищ капитан-лейтенант, махорочкой не богаты? — Голос простуженный, немолодой.

Бенедиктов обернулся, словно выведенный из глубокой задумчивости. Мужчина в драповом пальто и матерчатой рваной ушанке с торчащей из дыр ватой висел на костылях — плечи вздернуты, голова опущена.

— Махорочкой?.. Гм-м... Найдется. — Бенедиктов охотно закинул полу шинели, полез в карман брюк; лицо его выражало приветливое простодушие. — Особо раненому братишке. Раз такое обращение — «капитан-лейтенант», стало быть, свой, флотский?

— Это точно... — Зажав под мышкой костыли, инвалид снял рукавицы, запустил грубые пальцы в кисет.

Бенедиктов не курил, но махорку держал при себе, и она не раз выручала его в самых непредвиденных обстоятельствах. Свернул самокрутку сам, похлопал по карманам.

— А, чч-черт побери, кажется, спички забыл...

— Не беда, у меня есть.

Он приладил к белому камешку сплетенный из ниток жгут, сильно ударил по камню железной пластинкой. Щурясь от едкого дыма горелой тряпки, Бенедиктов сумел разглядеть худое, с впалыми щеками лицо в морщинах, желвачок на лбу справа, над самой бровью, нос крупный, широкий.

— Где служил-то?

— На «Октябрьской революции», старшиной команды трюмных машинистов. — Послюнявив пальцы, инвалид придавил раскрасневшийся на ветру трут. — Там и накрылся.

— Ба, на «Октябрьской революции»! — оживился Бенедиктов. — У меня там друг закадычный, капитан третьего ранга Чухнин. Знал такого?

— Чего-то не припоминаю. Да я на линкоре недолго пробыл, перед самой... — вдруг закашлялся, по-лошадиному кивая, — перед самой войной перевели с «Кирова»...

Ну, спасибо, капитан-лейтенант, а то со вчерашнего утра не куривши. Думал, подохну... Пойду за пайкой, пока не заперли.

Скрючившись, он осторожно переставил костыль на промерзлую, скользкую землю, едва прикоснулся больной ногой и, подпрыгнув, ступил здоровой. Бенедиктов выплюнул окурок.

Светало. Казалось, кто-то незаметно вливал в густую темень свет, перемешивал и разбавлял ее. Снег представлялся уже не черным, а синим, проявились кирпичи стен с квадратиками изразцов, дверь булочной оказалась коричневой, обрели объемность дома, сугробы. Поприутих ветер.

Бенедиктов быстро пересек улицу, скосив глаза на магазин, замер возле уцелевшей стены разбомбленного особняка.

Вскоре появился инвалид. К удивлению Бенедиктова, он заковылял не к подворотне, где они только что повстречались, а к проспекту. «Куда же это ты пошел, а? Посмотрим, посмотрим», — думал Бенедиктов, двигаясь за ним по противоположной стороне Большого, к Гавани.

Проспект был широк, настолько широк, что Бенедиктов обострившимся зрением едва различал темное подрагивающее пятнышко — голову и плечи, — мучительно медленно плывущее за кучами снега.

А когда оно пропало, он все же не заметил. Бенедиктов ругнулся и, пригибаясь, увязая в снегу, перебрался к большому серому дому. Никого... Ворота наглухо заперты, завалены снегом... А вот и выдавленные кружочки. Они вели в парадное, оказавшееся проходным. Дверь со двора была распахнута настежь. Бенедиктов с облегчением вздохнул: в глубине узкого дворового садика хромал человек на костылях...

У заднего крыльца четырехэтажного флигеля он долго лающе кашлял, прижав руку к груди, потом осмотрелся и исчез внутри.

Выждав с минуту, Бенедиктов последовал за ним, прислушался. Наверху, на третьем или четвертом этаже, хлопнула дверь, и все стихло. Тогда он неслышно выбрался обратно во двор, скользнул глазами по крышам. Одно слуховое окно его особенно заинтересовало, и он поспешил к соседнему дому.

Чердак продувался насквозь, но чердачный запах так и не выветрился. После улицы здесь казалось темно — пришлось достать фонарь. Возле кирпичной трубы стояла ржавая бочка с песком. Из песка косо торчал стабилизатор «зажигалки». И рядом с брошенной лопатой валялись недогоревшие, как сигары, огрызки маленьких бомб..

Перелезая через пыльные стропила, Бенедиктов устремился к присмотренному им окну и чуть не споткнулся обо что-то. Бросил под ноги луч света, невольно отпрянул, увидев окоченевший труп женщины. Женщина лежала ничком, раскинув ноги и сжимая в белевшем кулачке длинные щипцы; развязавшийся платок на голове еле заметно колыхал ветер...

Бенедиктов обошел труп и, взобравшись под крышу, примостился у полукруглого окошка. Отсюда была видна часть кирпичного, без штукатурки, флигеля, крыльцо, где скрылся инвалид; не весь, но просматривался и двор. Почерневшие, с поломанными рамами окна, забитые где фанерой, где железом, заткнутые тряпьем, подушками или вовсе пустые, не позволяли видеть происходящее внутри и казались безжизненными. Бенедиктов попытался уловить хоть какой-нибудь шорох, но тщетно: тишина стояла устрашающая.

И вдруг густой, липкий гул вырвался откуда-то, заложил уши, нарастая, и отозвался громом в другой стороне. Качнулась земля, вздрогнули стены. Бенедиктов выругался про себя расхожим русским словом, прижимаясь бессознательно к стене. Гул не стихал, он как бы пульсировал; с ним слышался другой, такой же мощный и тяжелый, —

ударили в ответ корабли с Невы. Теперь стены дрожали не переставая, один раз что-то рассыпалось по крыше. Бенедиктов посмотрел вверх и только сейчас заметил, что крыша вся в мелких дырах, как звездное небо, а в глубине чердака зияет огромная брешь. Невольно перевел взгляд на женщину и покачал головой.

Стрельба прекратилась неожиданно, как и началась. За время обстрела из дома никто не выходил. От неудобного положения у Бенедиктова затекли и стали мерзнуть руки и ноги. Ветер с колючей снежной пылью резал лицо. «Что он там делает так долго? — думал Бенедиктов, растирая перчаткой щеки и нос. — Или здесь его дом? Тогда откуда он шел спозаранок?»

Прошел еще томительный час и еще... Если бы Бенедиктов не осмотрел флигель, убедившись в отсутствии черного хода, можно было предположить, что инвалид ушел. Нет, он был тут. Терпение, только терпение. Бенедиктов заставлял себя думать о чем-нибудь приятном, хорошем, восстанавить в памяти, например, какой-нибудь случай, когда ухаживал за Тасей... Не получалось — холод глушил все. И хотелось есть. Это давно уже ставшее обычным чувство обострилось, напоминая о былом времени обеда. Бенедиктов знал, что скоро оно пройдет, сменится слабостью и повлечет за собой сонливость. Заснуть же он боялся больше всего.

Было совсем темно, когда дверь приоткрылась и инвалид боком пролез в щель. Его никто не провожал. Промерзший до костей Бенедиктов скатился на засыпанный гарью пол и, разминая на ходу онемевшие руки, побежал к выходу.

Теперь незачем было переходить на другую сторону, — темнота укрывала его. Отпустив инвалида шагов на пятьдесят, насколько позволял глаз, Бенедиктов тащился за ним по знакомому пути, пока не дошел до той самой подворотни. Во втором дворе инвалид вошел в дом. Бенедиктов при-

кинул, что жить он мог либо в восемьдесят шестой, либо в семидесятой квартире, но на всякий случай запомнил все номера на лестнице.

В жакте, сыром и холодном подвале, пропахшем копотью, он застал дворничиху и девушку из МПВО. Облокотясь на старый канцелярский стол с грязной пустой чернильницей, девушка называла дворничихе какие-то квартиры и загибала пальцы перед самым ее носом, та согласно кивала.

— Как бы повидать вашу паспортистку? — спросил Бенедиктов. Девушка через плечо кинула на него взгляд и отвернулась.

— Паспортистку?.. А никак. — Дворничиха поерзала на крутящемся табурете. — Нет у нас паспортистки, убило нашу Галочку на прошлой неделе бонбой. Пошла домой, может, еще и спать не улеглася, и налет... Бонба аккурат в самый ихний дом угодила. Одни черепки... Ах ты господи, фашист проклятуший, душегуб...

— И кто же теперь?

Дворничиха пожала острыми плечами, закатила маленькие глазки.

— Поди знай кто... Сама Клава, наверно.

— Кто это — Клава? Управдом? Где ее найти?

— Дома, где же еще, час-то уже поздний. Она тут недалеко живет, на Двдцдтой линии, дом одинддцдть, квартирд тжде одинддцдть.

Петрдковд — тк дворничихд нздвдл фдмилюд упрдвдмд Клдвд — зд порог его не пустилд. Онд лишь приоткрылд дверь нд цепочке и спросилд настороженным шепотом: «Кто?» Бенедиктов едвд устоял нд ногдх от потекшего нд лестницуд вместе с теплом сладкого, головокружительного зпдхд печеного теста. Это было тк неожидднно и тк невероятно, что он, глотнув слюну, отступил нд шдг.

— Энкдвэдэ, — ответил он, испытывдв безотчетное чувство неприязни к женщине, и ндпрдвил свет фондря нд

свою красную книжечку. — Нужно посмотреть домовые книги, быстро.

Испуганно пробормотав: «Обождите минутку, я сейчас», она поспешно захлопнула дверь и заперла на крюк.

По дороге Петракова начинала что-то говорить, но Бенедиктов хмуро отмалчивался. Проклятый запах горячего печева не давал ему покоя, и он думал о том, как бы поскорее добраться до жакта.

— Вот, Егоровна, какого я мужчину привела, — сказала, входя, Петракова съезжившейся в углу и, казалось, дремавшей дворничихе.

Та хихикнула:

— Ах, Клава, Клава... О хлебце бы думала...

Девушки из МПВО уже не было. Бенедиктов заметил, что Петракова недурна собой — это открытие безотчетно еще более усилило неприязнь к ней.

Она достала из сейфа четыре толстые потрепанные книги с загнутыми и засаленными углами. Бенедиктов сел за стол.

— Вот здесь отмечены выбывшие, — сказала она из-за спины, налегая на него грудью, — и проставлено число. Можете не сомневаться, у нас все в полном порядке.

— Разберусь, разберусь, — Бенедиктов резким движением расправил спину; ему показалось, что он уловил запах вина, — не в первый раз... — И принялся выписывать ненужные ему фамилии, делая вид, будто внимательно просматривает все квартиры.

В семидесятой мужчин не оказалось, в восемьдесят шестой жил монтажник. И в других квартирах по той лестнице списанные с флота военнослужащие не значились. «Вот так компот! — обескураженно подумал Бенедиктов, перевертывая страницу. — Выходит, инвалид прописан в другом месте, если он вообще прописан. У кого же он живет?..»

6. СОСЛУЖИВЦЫ

На следующий день Яков Владимирович Дембо, командир части, высокий (под два метра), худой, с тонкой шеей контр-адмирал, зашел в клетушку Бенедиктова. Тот поднялся из-за стола, шагнул навстречу, тряхнул протянутую руку.

— Вы, кажется, заходили ко мне и изъявляли желание видеть, не так ли? К сожалению, я был занят... Что-нибудь срочное?

Бенедиктов сел рядом с контр-адмиралом, сказал про смерть Лукинского.

— Очень прискорбно, очень, — проговорил Дембо, вытаскивая платок и сморкаясь. — Это был превосходнейший инженер, как говорят в таких случаях, инженер Божьей милостью. И человек, кажется, хороший... Но сейчас столько смертей кругом...

— Вы знаете, что он покончил с собой?

— Да что вы говорите? Этого я не знал... Что же произошло?

— Застрелился... Что вы можете сказать по этому поводу?

Лицо контр-адмирала показалось обиженным.

— Дружок мой, я не гадалка. Предполагать может каждый, в том числе и вы, при небольшой доле воображения, но знать, я думаю, мог только он сам. И потом... — Дембо откинул узкие сухие ладони, — если бы это случилось до войны, тут был бы предмет... Я знаю, что он потерял семью. Одиночество, житейские невзгоды, неважное самочувствие... Не каждый выдерживает такие испытания.

— Мне кажется, вас все же удивило, что это самоубийство. Или я ошибся? — склонив голову набок, спросил Бенедиктов.

Дембо беззвучно засмеялся:

— Проницательность — ваша работа... Признаться откровенно, да, удивило. Попробую сказать почему. Наверное, потому, что я был не подготовлен...

— Иными словами, его образ действий в последние дни не давал повода к такому печальному концу?

— Пожалуй, именно так... Но, повторяю, человеческая психика — тайна, может быть, самая глубокая из всего, что нас окружает... Случается всякое. Тем более в нынешних условиях. Состояние депрессии, резкий переход от одного эмоционального состояния к другому... А Лукинский был эмоциональным человеком... Но я не психолог, вероятно, надо поговорить с ними.

— А неприятностей служебного порядка у него не было в последние дни? Скажем, приказа или какого-нибудь крупного разговора?

— Нет. О таком мне неизвестно.

Дембо вынул из брючного кармана серебряные часы, посмотрел на отдалении и поднялся.

— Одну минуту, Яков Владимирович, — сказал Бенедиктов торопливо, — я вас долго не задержу. Скажите, чем занимался Лукинский?

— Евгений Викторович? Тем же, чем и все мы: ремонтом боевых кораблей.

— Но, может быть, у него было какое-нибудь особое, специальное задание?

— У Ленинграда сейчас одна-единственная цель — выстоять! — сухо сказал контр-адмирал, засовывая руки в карманы полушубка. — Все мобилизовано для ее достижения. Распылять силы нельзя — это было бы преступлением перед страной... А тем, что вы подразумеваете, занимаются тылы, и, надо думать, успешно.

— Тогда что это может означать? — Бенедиктов вынул из сейфа блокнотные листки с расчетами Лукинского.

Контр-адмирал повертел их, достал очки и, рассматривая, медленно опустился на стул.

— Хм, интересно... Весьма и весьма... — Посмотрел на выжидающего Бенедиктова серыми глазами: — Ну-с, это мне гораздо ближе, чем психология. Тут можно и поразмышлять... Простите за нескромный вопрос, вы сами по профессии не инженер?

Бенедиктов покачал головой отрицательно:

— Я окончил политическое училище, военно-морское.

— Понятно, понятно... По долгу службы вам, наверно, известно, что до формирования нашей части Евгений Викторович работал в конструкторском бюро. Я знаю это кабэ, оно сейчас в эвакуации. Вам также должно быть известно и другое — что наука вплотную подошла к открытию. Величайшему, я сказал бы, эпохальному открытию. Его можно ожидать со дня на день. Я имею в виду расщепление атома, получение нового вида энергии. — Оживился, помахал листочками, предвкушая нечто приятное. — Представьте флот, движимый не каким-нибудь мазутом или соляром, а принципиально новым топливом. Фан-та-сти-ческим топливом! И все, что следует за этим, тоже для нас пока фантастика. Появляется заманчивая возможность на подводных лодках в качестве главных двигателей использовать паровые турбины. Мощность же такой турбины огромна, она многократно превышает ту, которую мы имеем сейчас. Нетрудно догадаться, что соответственно возрастают скорости, особенно важно — подводные скорости лодок. Но это еще не все выгоды. — Дембо зажмурился мечтательно, потом улыбнулся и стал загибать пальцы: — Расщепление атома абсолютно не требует кислорода, значит, нет выхлопа — дыма, гари, копоти. По той же причине лодка может обойтись вообще без атмосферы и ходить в дальние походы, не всплывая на поверхность. Наконец, исчезают громоздкие цистерны для хранения топлива на время плавания. Отсюда — совсем иные размеры лодок и более мощное вооружение... Вот что это такое! — Помолчал, покачивая ногой. — Скажу

вам откровенно как инженер: дело, которым мы сейчас заняты, довольно простое, для талантливого человека, привыкшего творить, малоинтересное. Все равно если бы портной экстра-класса, модельер, диктовавший моду, вынужден был ставить заплатки на рваные брюки. Но весь фокус, дружок мой, в том, что творец всегда творец. Он будет думать, искать — больной, голодный, переживающий личную драму... Человеческую мысль, особенно творца, нельзя заставить биться с девяти до шести с перерывом на обед или замкнуть в сейф на ночь. Вы поняли меня? Евгений Викторович был именно таким... Как инженер-механик по турбинам он здесь выполнял свою работу, и, надо сказать, со всей ответственностью... Ну а в остальное время, по-видимому, мечтал с карандашом в руках. Будущее — всегда мечта, таинственная загадка... Я неточно выразился — мечтал. Он разрабатывал мечту, овеществлял ее. На этих листках я вижу расчеты расхода пара и мощностей турбин для атомной подводной лодки. Вдумайтесь: атомной!.. Призрачная фантастика придвинулась к человеку, он хочет уже поковыряться в ней, как в автомобиле... — Дембо встал, застегнул полушубок. — Сожалею, у меня нет возможности пересчитывать, но я вижу ход мысли. Блистательный ход... Блистательный!..

Он сунул листки Бенедиктову и, пригибая голову под притолокой, хотя в этом не было надобности, вышел не простившись.

Капитан третьего ранга Елсуков оказался нелегким собеседником. Полтора часа говорил с ним Бенедиктов, но ни на один вопрос Елсуков, в сущности, не ответил. Говорил он быстро и много, помогая руками; в потоке слов фразы составлялись так ловко, что наиболее важное для Бенедиктова дробилось, расползалось и окончательный ответ можно было толковать двояко. «Ну и говорун», — раздраженно подумал Бенедиктов, глядя на не перестававшего

улыбаться Елсукова и стараясь не замечать назойливо выставленные напоказ крупные желтые зубы.

— Вы бывали у Лукинского дома? — спросил он, не давая своего раздражения.

Елсуков поиграл пальцами, как бы пытаясь понять, какой ответ желает услышать оперуполномоченный. Лицо Бенедиктова было непроницаемо.

— Видите ли, у нас сложились такие отношения, при которых интеллигентные люди, если они действительно интеллигентны...

— Феликс Леонидович, я вас спрашиваю не об отношениях, а о том, бывали ли вы у него дома. Не уходите в сторону, отвечайте конкретно.

— По-моему, я говорю очень конкретно, — еще сильнее заулыбался Елсуков, наклоняясь к Бенедиктову. — При таких отношениях люди, как правило...

— Так да или нет?

— Мне известно, где он жил... Однажды мне пришлось зайти к нему за справочником, Лукинский простудился и не ходил в часть, но я задержался у него всего на несколько минут, даже не заходил в комнату, так что считайте как угодно — был или не был...

— Когда это произошло?

— Не помню, совершенно не помню... У меня пресквернейшая память, особенно на даты. Можете себе представить: я даже не помню дня рождения жены, которую очень люблю, хотя она аккуратно каждый год мне о нем напоминает. Курьезно, но теперь даже она поняла, что это бесполезно, и тем не менее я...

— Но приблизительно-то вы можете сказать, когда это было? Осенью? Зимой?

— Затрудняюсь вам ответить. Давно, давно, очень давно.

— Не до войны же, — усмехнулся Бенедиктов. — До или после того момента, когда вы приглашали Лукинского жить к себе?

Глаза Елсукова расширились от изумления. В первый раз он запнулся.

— Простите, не понял... О каком приглашении...

— Забыли? — мягко, не осуждающе проговорил Бенедиктов. — Вспомните-ка...

Елсуков засмеялся тихо, хлопнул себя по темени:

— Да, да, да, да, да... Ну конечно, вспомнил, был такой случай, был. Ах, какая память, просто не знаю, что делать. Вспомнил. Приглашал...

— Но почему Лукинского? Вы говорили, что у вас никогда не было с ним близких отношений, даже более того — они были холодными.

— Видите ли, когда жизнь хватает за горло, то есть, простите, я не так выразился, когда появились некоторые житейские трудности, многие собираются вместе для облегчения существования. Мы подумали с женой, что могли бы с кем-нибудь соединиться. У нас самих, по теперешним понятиям, большая семья — я, жена, шурин-инвалид, а Лукинский остался один, и мы проявили этот акт человеколюбия исключительно из сострадания к нему. Исключительно!..

— Итак, — напомнил Бенедиктов, — вы заходили к Лукинскому до или после приглашения?

— Это было раньше.

— Кто же вам передал справочник? Он сам, жена или сын?

— Лично сам Лукинский: жена его к тому времени уже умерла.

— Ага, понимаю... Кто-нибудь находился у него, когда вы пришли?

— Он был один. Совершенно один — жалкий, потерянный, в каком-то старом пальто без пуговиц...

— А что с вашим шурином?

Елсуков снова растянул рот, но в потускневших глазах появилось мученическое страдание.

— Тяжелейшая контузия... Врачи говорят — останется с костылями надолго, может быть, даже и на всю жизнь. Вы не представляете, какой это был юноша — спортсмен, веселый, остроумный... Я познакомился с ним, когда он был еще мальчиком, — я тогда ухаживал за его сестрой, теперешней моей женой. Помню, прибежит из школы, щеки — как яблоки, глаза горят, и — с порога: «Раечка! (Это сестру, мать у них почти не занималась ни хозяйством, ни воспитанием.) Раечка, «отлично» по алгебре, можно я пойду с ребятами в кино?» А она: «Нет, Сережа, сначала поешь куриный бульон с булочкой, сделай уроки, а уж потом можешь идти». И — ни упрека, ни капризов... Это такой удар для всех нас...

Бенедиктов сочувственно кивал, едва успевая вникнуть в смысл нагромождаемых слов, и, когда Елсуков набирал воздух, чтобы продолжить, спросил:

— Насколько я осведомлен, Феликс Леонидович, ваша специальность — паровые турбины и вы работали у Лукинского в отделе. Не делился ли он с вами или при вас своими мыслями относительно развития техники, не говорил ли, чем занимается дома?

— Нет, нет, нет, что вы! Никаких посторонних разговоров, — замахал руками Елсуков, — никаких, только о текущих делах... — Пригнулся и шепотом: — Если бы вы поработали у него, увидели бы, как с ним было трудно... Дотошный, требовал все время пересчитывать, переделывать, даже когда было не так уж важно...

«Наверно, с тобой действительно было трудно работать», — подумал Бенедиктов, потирая виски кончиками пальцев, и отпустил Елсукова, который перед дверью обернулся и еще раз осветил его улыбкой.

— Инженер Макарычев, с вашего позволения. — Голос прозвучал с порога излишне громко.

— Жду вас, заходите, — приветливо откликнулся Бенедиктов.

Макарычев энергично пододвинул стул, чтобы удобнее видеть капитан-лейтенанта, не сел — плюхнулся. Движения его были свободны, естественны — ни страха, ни угодливости, ни жеманства, появившихся в собеседниках, что не раз отмечал Бенедиктов, стоило им попасть в его восьмиметровый кабинет с решетчатым окошком. Инженер был коренаст, широколиц, седые волосы лежали хаотично, на макушке торчал хохолок.

— Вы давно и, должно быть, хорошо знали Лукинско-го, — начал Бенедиктов; Макарычев повернул голову, нацелив на него ухо с приложенной ладонью. — Какое у вас сложилось впечатление о последних днях его жизни? Не говорил ли он вам, что его беспокоит?

— Вы правы, знал я его давно, но утверждать, что знал хорошо, не берусь, одно с другим не всегда совпадает, вы со мной согласны? — посмотрел весело на Бенедиктова, требуя подтверждения. — Мы примерно с ним одного возраста — я на два-три года постарше, — но получилось так, что я уже имел солидный стаж, работая в кабэ, — я ведь был студентом еще до революции, — а Женя пришел к нам прямо со студенческой скамьи где-то в конце двадцатых годов. Вот тогда-то я с ним и познакомился и сразу обратил внимание на его незаурядные способности. Правда, вскоре я ушел из кабэ на преподавательскую работу. Ну, а началась война — оба мы оказались здесь как старые знакомые... Что сказать о его последних днях? Утрата жены и сына Женю надломил, хоть сейчас люди как-то иначе относятся к смерти вообще, да и к смерти близких. У него появилось, мне кажется, безразличие к жизни, он стал невнимателен к себе, рассеян...

— Какие-нибудь новые знакомства у него были в последнее время? Он не говорил?

— Ну какие сейчас могут быть новые знакомства! Не до этого... Сохранить бы те, которые есть... Во всяком случае, мне лично он не говорил.

— А не замечали ли вы чего-нибудь необычного, странного в его жизни, в поведении, в отношении к нему людей?

— Странного, необычного?.. Нет, нет... — тряхнул холком Макарычев. — Вообще Женя был человеком непростым. Он мог под горячую руку обругать, подковырнуть сослуживца, причем зло, обидно и, может быть, даже беспричинно. Но отходил быстро, чувствовал себя виноватым, извинялся... Это был человек дела. Дело, дело... Прежде всего дело. Терпеть не мог болтовни, трескотни, словоблудия. А такой подход к жизни не всем нравится. Так что не уверен, что все без исключения любили и восхищались им.

Переместившись на стуле, Бенедиктов сказал:

— Все это интересно... Скажите, а с кем Лукинский общался? Каких-нибудь подозрительных людей, с вашей точки зрения, вокруг него не обреталось?

Макарычев приложил кулак ко рту, призадумался, глядя на Бенедиктова.

— Что значит «подозрительные люди»? Нет... Впрочем... Впрочем, хотите я расскажу вам об одном эпизоде, но скорее, так сказать, анекдотического порядка. Так, мелочь, о которой, может быть, и вспоминать не стоит, но раз уж вы спросили... Произошло это года три назад, летом. Не помню, по какому поводу Женя пригласил меня и нескольких наших сотрудников кабэ в «Универсаль». То ли он отмечал день своего рождения, то ли получил какую-то награду, не помню, суть не в этом. В ресторане были и другие приглашенные. И вот среди них я увидел человека, поразительно похожего на ротмистра Нашекина, пристава Коломенской полицейской части (у Бенедиктова собралась кожа на лбу; Макарычев показал два ряда золотых зубов). Забавно, да? Не удивляйтесь, сейчас поясню...

Макарычев рассказал, что второкурсником — он учился в Технологическом в пятнадцатом-шестнадцатом годах — он был среди студентов, группировавшихся вокруг социал-демократов, просиживал вечера за спорами в мар-

ксистском кружке и выполнял мелкие разовые поручения подпольного большевистского комитета в районе.

Последнюю зиму перед революцией столица жила особенно беспокойно. Студенчество митинговало, размахивая кумачовыми флагами; устраивали сходки, выходили на демонстрации... Чувствовалось горячее дыхание революции. (Макарычев порозовел, возбудился от воспоминаний. «Спросите меня: а когда учились? Не отвечу. А ведь все-таки учились, черт возьми!»)

В декабре после митинга у Калинкина моста полиция переловила студентов и — в часть. Несколько дней держали в душных, забитых до отказа людьми камерах, вызывали на допросы по одному — искали зачинщиков и смутьянов.

— Меня допрашивал сам ротмистр. Забыть Нащекина я уже не смогу никогда, потому что в его части я потерял зубы, — Макарычев провел рукой перед растянутым ртом, — и сорок процентов слуха. Он и сейчас передо мной — холодный, расчетливый истязатель, с большими холеными руками, которые знали куда бить и как бить... И лицо у него характерное: тонкий-тонкий нос, прямо пластинка, близко сведенные к переносице черные пронзительные глаза...

— Так кто же был на банкете у Лукинского, неужели он? — с недоверием спросил Бенедиктов.

Макарычев хлопнул себя по колену:

— Никоим образом!.. Нащекин там быть не мог, ибо он расстрелян в тридцатом году.

— Откуда вы знаете?

— Из газет... Это был громкий процесс, «Красная газета» публиковала тогда подробный отчет. Оказалось, Нащекин тихо пережил революцию, сменил фамилию, внешность и занялся какими-то аферами. Его разоблачили, судили и расстреляли. Можете представить мое удовлетворение: порок наказан! Я даже написал тогда в редакцию.

— У вас, случайно, не сохранился номер газеты? Принесите мне, если не затруднит вас, — сказал Бенедиктов, поглаживая затылок, и пробормотал: — Действительно занятая история...

— Что вы?.. — морщась, Макарычев поднес ладонь к уху.

— Следовательно, вы предполагаете, что это был...

— Его сын! — вскинул плечи Макарычев. — А кто же еще? Такое поразительное сходство...

— А у него был сын?

— Вот уж, извините, чего не знаю, того не знаю, — с сарказмом проговорил Макарычев. — Не имел чести быть знакомым с господином Нащекиным и его семейством. Знакомство произошло, как я вам сказал, в каталажке, на том оно и закончилось.

— Вы попытались поговорить с тем человеком? — напругая голос спросил Бенедиктов.

— Было у меня такое желание, правда, не скажу, чтобы страстное. Но знаете застолье?.. Он сидел на противоположном конце, а тут пошли всякие разговоры за рюмкой. Когда я спохватился, его уже не было.

— С кем-нибудь вы говорили о вашем наблюдении, заявляли куда-нибудь?

— Единственный, с кем я поделился, был Женя. Вы бы видели, как он хохотал! Пролетарий в роли жандармского сынка! Оказалось, он чуть ли не с детства знал его, потому и хохотал. Тогда же он рассказал, что у него есть родственник, как две капли воды похожий на Калинина. С ним здоровались на улице, принимая за Михаила Ивановича... Этим Женя окончательно убедил в глупости моей фантазии, и мне не хотелось попадать в нелепое положение. Так что заявлять по сути дела нечего. Я ведь и вам с самого начала сказал, что случай курьезный...

Бенедиктов не стал его разубеждать и спросил:

— А фамилию Лукинский вам называл? Или его имя?

— Не только называл. Он меня с ним знакомил, но фамилия мне ровным счетом ничего не говорила, и она у меня моментально выветрилась из памяти, так же как и имя.

— Еще когда-нибудь вы встречали этого человека? (Макарычев резко тряхнул головой.) Он был военный, гражданский?

— Гражданский.

— Я понял так, что по возрасту он был как бы ровесником Лукинского?

— Совершенно верно, что-нибудь около сорока... Это меня и поразило: он был приблизительно тех же лет, что и Нащекин, каким я его знал!

— Н-да... — произнес Бенедиктов, поглаживая переносицу, и это неопределенное словцо можно было расценить как удовлетворение весьма важным сообщением или, наоборот, как скорбь по потерянному на никчемный разговор времени. — Что-нибудь еще вы можете сказать по поводу знакомств Лукинского?

— Абсолютно ничего.

— Тогда не смею вас задерживать. Спасибо. — Когда Макарычев был у двери, Бенедиктов остановил его: — Между прочим, вспомните на досуге, кто еще присутствовал на том банкете в «Универсале», и сообщите мне. Вам, надеюсь, это будет несложно?..

7. БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР

Батальонный комиссар Дранишников назначил по телефону встречу на двадцать тридцать. Выслушав начальника, Бенедиктов чертыхнулся про себя: выходило, что встреча с Тасей еще откладывается, по крайней мере на сутки. Несмотря на все старания, он уже третий день не имел возможности связаться с женой и у него не было ни малейшего представления о том, что происходило дома. Бог знает что могло случиться за эти два дня! Все равно что за год

обычной жизни. Неизвестность угнетала, злила. И Тася... Могла бы как-нибудь дать знать о себе и своей тетке... Но вдруг не могла?..

Чувствуя весь день недомогание, Бенедиктов вышел пораньше и около семи вечера был на Литейном, совершенно обессилен после долгой ходьбы.

Здесь, в тиши, он развернул потерявшие упругость желтые листы старой газеты, еще раз прочел судебный отчет, просмотрел документы, которые поступили на запросы в последние сутки, и, тщательно подобрав бумаги, сложил в папку. Дранишников болезненно относился к опозданиям, неточностям, неряшливости и при случае делал замечания тихим голосом, без угроз и грубостей, но с какой-то необъяснимой внутренней силой волевого, беспощадно относящегося к себе человека. Замечания выслушивать было больно, гораздо больнее, чем переносить разнос. Изучив начальника, Бенедиктов заранее обдумывал разговор, стараясь не быть застигнутым врасплох даже в мелочах.

Встретил его Дранишников, как обычно, едва заметным наклоном головы и сразу приступил к делам. Его чрезвычайно интересовало все относящееся к Лукинскому, но начал он все же с Нефедова.

Михаил Николаевич Нефедов, имевший еще кличку Боксер, попал в поле зрения Бенедиктова в июле. Тогда капитан-лейтенант узнал об одном разговоре, из которого следовало, что Нефедова вполне устраивал приход немцев. Позже вскрылись любопытные обстоятельства: оказалось, что этот человек, сын судовладельца в Николаеве Церидоса, бежавшего после революции в Турцию, в начале девятнадцатого года командовал летучим отрядом в треугольнике Геленджик — Криница — Черный Аул (после высадки англичан и французов). Отряд вылавливал и добивал раненых, расстреливал отставших от своих частей красноармейцев. Когда Деникин вместе с войсками Антанты был

разгромлен, Церидоса схватили, но при пересылке в тюрьму он убил конвойного и исчез...

В Ленинграде он обосновался года за два до войны с документами на имя Нефедова, женился на обрусевшей немке Гертруде Оттовне, устроился на завод, стал стахановцем — портрет его, увитый алой лентой, висел на площадке за проходной. В первый месяц войны он перебрался мастером на только что спешно запущенный завод на взморье, куда прибывали после боев полузатонувшие, потерявшие ход и обезображенные снарядами канонерские лодки, сторожевые корабли, буксиры и разные вспомогательные суда — для ремонта.

Однажды к Бенедиктову, на попечении которого был и этот объект, постучался парнишка — юнга в плохо подогнанной к его шуплому телу робе. Шепотом он сообщил, что неподалеку от пирса в старой цистерне, на девять десятых вкопанной в землю и скрытой всяким хламом, он наткнулся на тайник с оружием. Ночью Бенедиктов незаметно спустился в заброшенную цистерну. Там, в самом конце, лежали в ящике, прикрытые камнями и досками, две винтовки, автомат, три или четыре пистолета, пачки патронов и кинжалы... Бенедиктов оставил все на месте, ни к чему не притронувшись, а через несколько дней в густых сумерках к цистерне крадучись подошел со свертком в руках, как бы по нужде, Устин Кокарев, слесарь того же цеха, где работал Нефедов. Когда Кокарев выбрался наружу, свертка не было... Из личного дела Бенедиктов выяснил, что в прошлом Устин Кокарев трижды отбывал сроки за квартирные кражи. Установил и его тесное знакомство с Нефедовым.

В особом отделе флота решили Нефедова, Кокарева и причастного к ним Фабрина, плановика из заводоуправления, пока не трогать. Важно было узнать их намерения и — самое существенное — с кем они связаны еще. Каждый раз Бенедиктов докладывал Дранишникову обо всем, что ему удавалось выяснить.

— У меня есть сведения, что Нефедов кого-то ждет, — сказал Бенедиктов, с усилием разлепляя веки. — Поэтому теперь он каждый день ходит домой ночевать, на заводе не остается. Кто-то должен прийти из-за линии фронта.

— Прекрасно, значит, связь намечается, как мы и предполагали. — Дранишников посмотрел на освещенное лампой землистое лицо капитан-лейтенанта. — Адресок-то у него какой?

— Малая Подьяческая, семь, восемьдесят восьмая квартира. Визит, по-видимому, имеет какое-то значение, потому что Нефедов сказал: «Хватит выжидать, скоро перейдем к активным действиям...»

— Всеволод Дмитриевич, — Дранишников откинулся на спинку стула, положил на стол кулаки, — глаз с него не спускать. Будьте готовы к любой провокации, вы за него в ответе. (Бенедиктов хотел попросить людей, но Дранишников словно прочитал его мысли.) И справляйтесь своими силами. Откуда оружие в тайнике, выяснили?

— С прибывающих на ремонт судов — оружие убитых и тяжелораненых.

— Надо перекрыть эту лазейку, напрочь. Навести строжайший учет оружия личного состава.

— Уже перекрыта, — сказал Бенедиктов глухим голосом. Он почувствовал, как кровь устремилась к голове и забилась, зазвенела в сосудах; похолодели и стали мокрыми пальцы, часто забилося сердце — не хватало воздуха...

— Надеюсь, вы сделали это аккуратно? Все должно выглядеть вполне естественно и не вызвать подозрений об обнаружении тайника. Сейчас особенно важно не спугнуть...

Последние слова Дранишникова сошли на нет, как звуки постепенно выключаемого приемника, и сам батальонный комиссар вдруг отдалился в непонятной дымке и пропал... Потом Бенедиктову почудилось какое-то движение, суэта, мелькнуло что-то белое и запахи — резкие, напоминающие что-то запахи...